



Иван Гончаров

ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ

ОБЛОМОВ ОБРЫВ

Иван Гончаров

**Обыкновенная история.
Обломов. Обрыв
(С иллюстрациями)**

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Гончаров И. А.

Обыкновенная история. Обломов. Обрыв (С иллюстрациями) / И. А. Гончаров — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого»,

Почему три романа Ивана Гончарова — «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв» — входят в трилогию? Ответ прост: они объединены единой проблематикой и группой характеров, черты которых проявляются в каждом романе, но соответственно эволюционируют в связи с изменениями в русской общественной жизни. К середине XIX века романтизм изживал себя не только как литературное направление, но и как возвышенное отношение к жизни. Борьба романтизма и прагматизма, мечтателя и практика стала основной темой романов писателя. Иллюстрации Наталии Борисовой.

Содержание

Обыкновенная история	5
Часть первая	5
I	5
II	18
III	42
IV	57
V	65
VI	83
Часть вторая	95
I	95
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Иван Гончаров

Обыкновенная история

Роман в двух частях

Часть первая

I

Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.

Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорыч, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном; а в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили на цыпочках и говорили шёпотом, чтобы не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздражённая львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком.

На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых, хотя всё господское семейство только и состояло, что из Анны Павловны да Александра Федорыча. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали до поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо его проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется, спрашивал: «Скажут ли мне, наконец, что у нас сегодня за суматоха?»

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для неё день! От этого она такая грустная и расстроенная. Часто, в хлопотах, она откроет рот, чтоб приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернётся в сторону и оботрёт, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит её в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино бельё. Слезы давно кипят у ней в сердце; они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья; но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый тёплый угол в дому, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и – что всего важнее для Евсея – первой её ключницы.

За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама.

История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всём на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же как и обо всём, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых? Зато вот настал и миг утраты! Прощай, тёплый угол, прощай, Аграфена Ивановна, прощай, игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка – всё прощай!

Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суежилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и вместо того, чтоб первую чашку крепкого чаю подать, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: «никому, дескать, не доставайся», и твёрдо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валялись из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит шкафа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на всё и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в её характере. Она никогда не была довольна; всё не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для неё минуту характер её обнаружился во всём своём пафосе. Пуше всего, кажется, она сердилась на Евсея.

– Аграфена Ивановна!.. – сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.

– Ну, что ты, разиня, тут расселся? – отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. – Пусти прочь: надо полотенце достать.

– Эх, Аграфена Ивановна!.. – повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

– Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, господи! и не отвяжется!

И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку.

– Аграфена! – раздалось вдруг из другой комнаты, – ты никак с ума сошла! разве не знаешь, что Сашенька поживает? Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?

– Не пошевелись для тебя, сиди, как мёртвая! – прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать её в куски.

– Прощайте, прощайте! – с громаднейшим вздохом сказал Евсей, – последний денёк, Аграфена Ивановна!

– И слава богу! пусть унесут вас черти отсюда: просторнее будет. Да пусти прочь, негде ступить: протянул ноги-то!

Он тронул было её за плечо – как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфене этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.

– Кто-то сядет на моё место? – промолвил он, всё со вздохом.

– Леший! – отрывисто отвечала она.

– Дай-то бог! лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть?

– Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда? – со злостью заметила она. Евсей встал.

– Вы не играйте с Прошкой, ей-богу, не играйте! – сказал он с беспокойством и почти с угрозой.

– А кто мне запретит? ты, что ли, образина этакая?

– Матушка, Аграфена Ивановна! – начал он умоляющим голосом, обняв её за талию, сказал бы я, если б у ней был хоть малейший намёк на талию.

Она отвечала на объятие локтем в грудь.

– Матушка, Аграфена Ивановна! – повторил он, – будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не даст. А я-то! э-эх! Вы у меня, что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так... эх!..

Он при этом крикнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: и у ней, наконец, горе обнаружилось в слезах.

– Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? – говорила она плача, – что мелешь, дуралей! Свяжусь я с Прошкой! разве не видишь сам, что от него путного слова не добьёшься? только и знает, что лезет с ручищами...

– И к вам лез? Ах, мерзавец! А вы, небось, не скажете! Я бы его...

– Полезь-ка, так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь! вишь, что выдумал! Подле него и сидеть-то тошно – свинья свиньёй! Он, того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук – и не увидишь.

– Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придёт – лукавый ведь силён, – так лучше Гришку посадите тут: по крайности малый смиренный, работающий, не зубоскал...

– Вот ещё выдумал! – накинулась на него Аграфена, – что ты меня всякому навязываешь, разве я какая-нибудь... Пошёл вон отсюда! Много вашего брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! С тобой только, таким лешим, попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь... а то выдумал!

– Бог вас награди за вашу добродетель! как камень с плеч! – воскликнул Евсей.

– Обрадовался! – зверски закричала она опять, – есть чему радоваться – радуйся!

И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.

– Аграфена Ивановна! – робко сказал Евсей немного погодя.

– Ну, что ещё?

– Я ведь и забыл: у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.

– Только и дела!

– С горя, матушка.

Она достала с нижней полки шкафа, из-за головы сахару, стакан водки и два огромные ломтя хлеба с ветчиной. Всё это давно было приготовлено для него её заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол.

– На вот, подавись! О, чтоб тебя... да тише, не чавкай на весь дом.

Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, а он медленно начал есть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою рот.

Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к седёлке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульню. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отёр пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

– Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька? – сказала она. – Он, мой голубчик, проспит, пожалуй, и последний денёк: так и не нагляжусь на него. Да нет, куда тебе! ты, того гляди, влезешь как корова! я лучше сама...

И пошла.

– Поди-ка ты, не корова! – ворчала Аграфена, воротясь к себе. – Вишь, корову нашла! много ли у тебя таких коров-то?

Навстречу Анне Павловне шёл и сам Александр Федорыч, белокурый молодой человек, в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемодан и узлы, смутился, молча отошёл к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и беспечно, даже с радостью смотрел на дорожные сборы.

– Что это ты, мой дружок, как заспался, – сказала Анна Павловна, – даже личико отекло? Дай-ка вытру тебе глаза и щёки розовой водой.

– Нет, маменька, не надо.

– Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковороде – чего хочешь?

– Всё равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать бельё, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской.

– Саша!.. – сказала она через несколько времени.

– Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, как будто чего-то боялась.

– Куда ты едешь, мой друг, зачем? – спросила она, наконец, тихим голосом.

– Как куда, маменька? в Петербург, затем... затем... чтоб...

– Послушай, Саша, – сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому с намерением сделать последнюю попытку, – ещё время не ушло: подумай, останься!

– Останься! как можно! да ведь и... бельё уложено, – сказал он, не зная, что выдумать.

– Уложено бельё! да вот... вот... вот... гляди – и не уложено.

Она в три приёма вынула всё из чемодана.

– Как же это так, маменька? собрался – и вдруг опять! Что скажут...

Он опечалился.

– Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастья? Да разве тебе здесь нехорошо? разве мать день-деньской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно, ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокруг себя: все смотрят тебе в глаза. А дочка Марьи Карповны, Сонюшка? Что... покраснел? Как она, моя голубушка – дай бог ей здоровья – любит тебя: слышь, третью ночь не спит!

– Вот, маменька, что вы! она так...

– Да, да, будто я не вижу... Ах! чтоб не забыть: она взяла обрубить твои платки – «я, говорит, сама, сама, никому не дам, и метку сделаю», – видишь, чего же ещё тебе? Останься!

Он слушал молча, поникнув головой, и играл кистью своего шлафрока.

– Что ты найдёшь в Петербурге? – продолжала она. – Ты думаешь, там тебе такое же житьё будет, как здесь? Э, мой друг! Бог знает, чего насмотришься и натерпишься: и холод, и голод, и нужду – всё перенесёшь. Злых людей везде много, а добрых не скоро найдёшь. А почёт – что в деревне, что в столице – всё тот же почёт. Как не увидишь петербургского житья, так и покажется тебе, живучи здесь, что ты первый в мире; и во всём так, мой милый! Ты же воспитан, и ловок, и хорош. Мне бы, старухе, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послал бы бог тебе деточек, а я бы нянчила их – и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал; а там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька, – а?

Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова.

– А посмотри-ка сюда, – продолжала она, отворяя дверь на балкон, – и тебе не жаль покинуть такой уголок?

С балкона в комнату пахло свежестью. От дома на далёкое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черёмухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой – тёмно-синее, как небо, которое отражалось в нём, и едва подёрнутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к тёмному лесу.

Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет.

– Погляди-ка, – говорила она, – какой красотой бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей сберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха; только гречиха нынче не то, что прошлый год: кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость божия! Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь всё это твоё, милый сынок: я только твоя приказчица. Погляди-ка, озеро: что за великолепие! истинно небесное! рыба так и ходит; одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси кишмя-кишат: и на себя и на людей идёт. Вон твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помы-

кать тобой. И ты хочешь бежать от такой благодати, ещё не знаешь куда, в омут, может быть, прости господи... Остайся!



Он молчал.

– Да ты не слушаешь, – сказала она. – Куда это ты так пристально загляделся?

Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург. Анна Павловна молчала несколько минут, чтоб собраться с силами.

– Так вот что! – проговорила она, наконец, уныло. – Ну, мой друг, бог с тобой! поезжай, уж если тебя так тянет отсюда: я не удерживаю! По крайней мере не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь.

Бедная мать! вот тебе и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ваши дела по свету – голова старушки трясётся от радости, она плачет, смеётся и молится долго и жарко. А сынок, большею частью, и не думает поделиться славой с родительницею. Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец отталкивают вас от себя люди и нет вам места между ними – тем более места в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится ещё долее и жарче.

Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? Ему было двадцать лет. Жизнь от пелен ему улыбалась; мать лелеяла и баловала его, как балуют единственное чадо; нянька всё пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя; профессеры твердили, что он пойдёт далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот, Васька, был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме.

О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно – он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их; слышались смешанные звуки – то голос славы, то любви: всё это приводило его в сладкий трепет.

Ему скоро тесен стал домашний мир. Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства и мурлыканье Васьки – все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и свершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькою любовью, в ожидании большой. Мечтал он и о пользе, которую принесёт отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков. Всего же более он мечтал о славе писателя. Стихи его удивляли товарищей. Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь; заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы.

Как же ему было остаться? Мать желала – это опять другое и очень естественное дело. В сердце её отжили все чувства, кроме одного – любви к сыну, и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. Не будь его, что же ей делать? Хоть умирать. Уж давно доказано, что женское сердце не живёт без любви.

Александр был избалован, но не испорчен домашнею жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили, например, в нём преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нём и самолюбие; но ведь самолюбие само по себе только форма; всё будет зависеть от материала, который вольёшь в неё.

Гораздо более беды для него было в том, что мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкий ум и запас большой опытности, не ограниченной тесным деревенским горизонтом. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, не плакать и не страдать вместо его и в детстве, чтоб дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться с своими силами и подумать о своей судьбе – словом, узнать, что он мужчина. Где же было Анне Павловне понять всё это и особенно выполнить? Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть ещё? Она уже забыла сыновний эгоизм. Александр Федорыч застал её за вторичным укладываньем белья и платья. В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя.

– Вот, Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу, – говорила она. – В самый низ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, так ли записано?

– Так, маменька.

– Все с твоими метками, видишь – А. А. А всё голубушка Сонюшка! Без неё наши дурищи не скоро бы поворотились. Теперь что? да, наволочки. Раз, две, три, четыре – так, вся дюжина тут. Вот рубашки – три дюжины. Что за полотно – заглядень! это голландское; сама ездила на фабрику к Насилью Васильичу; он выбрал что ни есть наилучшие три куска. Поверяй же, милый, по реестру всякий раз, как будешь принимать от прачки; все новёшенькие. Там немного таких рубашек увидишь; пожалуй, и подменят; есть ведь такие мерзавки, что бога не боятся. Носков двадцать две пары... Знаешь, что я придумала? положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится, так, сохрани боже! случай какой, чтоб и рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положу: то-то, чай, обрадуются! ведь семнадцать лет и словом не перекинулись, шутка ли! Вот косыночки, вот платки; ещё полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков: славный полубатист! У Михеева брала по два с четвертью. Ну, бельё всё. Теперь платье... Да где Евсей? что он не смотрит? Евсей!

Евсей лениво вошёл в комнату.

– Чего изволите? – спросил он ещё ленивее.

– Чего изволите? – заговорила Адуева гневно. – Что не смотришь, как я укладываю? А там, как надо что достать в дороге, и пойдёшь всё перерывать вверх дном! Не может отвяжаться от своей возлюбленной – экое сокровище! День-то велик: успеешь! Ты этак там и за барином станешь ходить? Смотри у меня! Вот гляди: это хороший фрак – видишь, куда кладу? А ты, Сашечка, береги его, не всякий день таскай; сукно-то по шестнадцать рублей брали. Куда в хорошие люди пойдёшь, и надень, да не садись зря, как ни попало, вон как твоя тётка, словно нарочно, не сядет на пустой стул или диван, а так и норовит плюхнуться туда, где стоит шляпа или что-нибудь такое; намедни на тарелку с вареньем села – такого сраму наделала! Куда попроще в люди, вот этот фрак масака надевай. Теперь жилеты – раз, два, три, четыре. Двое брюк. Э! да платья-то года на три станет. Ух! устала! шутка ли: целое утро возилась! Поди, Евсей. Поговорим, Сашенька, о чем-нибудь другом. Ужо гости приедут, не до того будет.

Она села на диван и посадила его подле себя.

– Ну, Саша, – сказала она, помолчав немного, ты теперь едешь на чужую сторону...

– Какая «чужая» сторона, Петербург: что вы, маменька!

– погоди, погоди – выслушай, что я хочу сказать! Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты нагладишься, и хорошего, и худого. Надеюсь, он, отец мой небесный, подкрепит тебя; а ты, мой друг, пуще всего не забывай его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чём. Достигнешь там больших чинов, в зять войдёшь – ведь мы не хуже других: отец был дворянин, майор, – всё-таки смиряйся перед господом богом: молись и в счастье и в

несчастью, а не по пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Иной, пока везёт ему, и в церковь не заглянет, а как придёт невмочь – и пойдёт рублёвые свечи ставить да нищих оделять: это большой грех. К слову пришлось о нищих. Не трать на них денег попустому, помногу не давай. На что баловать? их не удивишь. Они пропьют да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно; бог подаст! Будешь ли ты посещать храм божий? будешь ли ходить по воскресеньям к обедне?

Она вздохнула.

Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь; а в деревне, только из угождения матери, сопровождал её к обедне. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула.

– Ну, я тебя не неволю, – продолжала она, – ты человек молодой: где тебе быть так усердну к церкви божией, как нам, старикам? Ещё, пожалуй, служба помешает или засидишься поздно в хороших людях и проспичь. Бог пожалует твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспичит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слёзы в глазах и бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти, до церковного порога; последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровье, и чинов, и крестов, и небесных и земных благ. Неужели-то он, милосердый отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними он у меня всё: здоровье, жизнь, пошли слепоту – тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро...

Она не договорила, слёзы закапали у ней из глаз.

Александр вскочил с места.

– Маменька... – сказал он.

– Ну, сядь, сядь! – отвечала она, наскоро утирая слёзы, – мне ещё много осталось поговорить... Что бишь я хотела сказать? из ума вон... Вишь, нынче какая память у меня... да! блюда посты, мой друг: это великое дело! В среду и пятницу – бог простит; а в великий пост – боже оборони! Вот Михайло Михайлыч и умным человеком считается, а что в нём? Что мясоед, что страстная неделя – всё одно жрёт. Даже волос дыбом становится! Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята господом? Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял её, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему и в глаза-то бог знает что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого.

Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно, на дальнюю дорогу.

Она замолчала на минуту.

– Береги пуще всего здоровье, – продолжала она. – Как заболеешь – чего боже оборони! – опасно, напиши... я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Норовят ещё обобрать больного. Не ходи ночью по улицам; от людей зверского вида удаляйся. Береги деньги... ох, береги на чёрный день! Трать с толком. От них, проклятых, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня две тысячи пятьсот рублей в год. Две тысячи пятьсот рублей не шутка. Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себе в чём можно; захочется полакомиться – не скупись. – Не предавайся вину – ох, оно первый враг человека! Да ещё (тут она понизила голос) берегись женщин! Знаю я их! Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят этакое-то...

Она с любовью посмотрела на сына.

– Довольно, маменька; я бы позавтракал? – сказал он почти с досадой.

– Сейчас, сейчас... ещё одно слово...

– На мужних жён не зарься, – спешила она досказать, – это великий грех! «Не пожелай жены ближнего твоего», сказано в писании. Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться – боже сохрани! не моги и подумать! Они готовы подцепить, как увидят, что с денюжками да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного да богатого вельможи разгорятся на тебя зубы и он захочет выдать за тебя дочь – ну, тогда можно, только отпиши: я кое-как дотащусь, посмотрю, чтоб не подсунули так какую-нибудь, лишь бы с рук сбить: старую девку или дрянь. Этакого женишка всякому лестно залучить. Ну, а коли ты сам полюбишь да выдастся хорошая девушка – так того... – тут она ещё тише заговорила... – Сонюшку-то можно и в сторону. (Старушка, из любви к сыну, готова была покривить душой.) Что в самом деле Марья Карповна замечтала! ты дочке её не пара. Деревенская девушка! на тебя и не такие польстятся.

– Софью! нет, маменька, я её никогда не забуду! – сказал Александр.

– Ну, ну, друг мой, успокойся! ведь я так только. Послужи, воротись сюда, и тогда что бог даст; невесты не уйдут! Коли не забудешь, так и того... Ну, а...

Она что-то хотела сказать, но не решалась, потом наклонилась к уху его и тихо спросила:

– А будешь ли помнить... мать?

– Вот до чего договорились, – перервал он, – велите скорей подавать что там у вас есть: яичница, что ли? Забыть вас! Как могли вы подумать? Бог накажет меня...

– Перестань, перестань, Саша, – заговорила она торопливо, – что ты это накликаешь на свою голову! Нет, нет! что бы ни было, если случится этакой грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья, женишься – молодая жена заменит тебе и мать, и всё... Нет! Пусть благословит тебя бог, как я тебя благословляю.

Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления.

– Да что это не едет никто? – сказала она, – ни Марья Карповна, ни Антон Иваныч, ни священник нейдёт? уж, чай, обедня кончилась! Ах, вон кто-то и едет! кажется, Антон Иваныч... так и есть: лёгок на помине.

Кто не знает Антона Иваныча? Это вечный жид. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времён, и не переводился никогда. Он присутствовал и на греческих и на римских пирах, ел, конечно, и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына.

У нас, на Руси, он бывает разнообразен. Тот, про которого говорится, был таков: у него душ двадцать заложённых и перезаложённых; живёт он почти в избе или в каком-то странном здании, похожем с виду на амбар, – ход где-то сзади, через брёвна, подле самого плетня; но он лет двадцать постоянно твердит, что с будущей весной приступит к стройке нового дома. Хозяйства он дома не держит. Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чаю, но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по пятидесяти раз в год. Прежде Антон Иваныч ходил в широких шароварах и казакине, теперь ходит, в будни, в сюртуке и в панталонах, в праздники во фраке бог знает какого покроя. С виду он полный, потому что у него нет ни горя, ни забот, ни волнений, хотя он прикидывается, что весь век живёт чужими горестями и заботами; но ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас: это так заведено у людей.

В сущности, Антона Иваныча никому не нужно, но без него не совершается ни один обряд: ни свадьба, ни похороны. Он на всех званных обедах и вечерах, на всех домашних советах; без него никто ни шагу. Подумают, может быть, что он очень полезен, что там исполнит какое-нибудь важное поручение, тут даст хороший совет, обработает дельце, – вовсе нет! Ему никто ничего подобного не поручает; он ничего не умеет, ничего не знает: ни в судах хлопотать, ни быть посредником, ни примирителем, – ровно ничего.

Но зато ему поручают, например, завезти мимоездом поклон от такой-то к такому-то, и он непременно завезёт и тут же кстати позавтракает, – уведомить такого-то, что известная-де бумага получена, а какая именно, этого ему не говорят, – передать туда-то кадочку с мёдом или горсточку семян, с наказом не разлить и не рассыпать, – напомнить, когда кто именинник. Ещё Антона Иваныча употребляют в таких делах, которые считают неудобным поручить человеку. «Нельзя Петрушку послать, – говорят, – того и гляди, переверёт. Нет, уж пусть лучше Антон Иваныч съездит!» Или: «Неловко послать человека: такой-то или такая-то обидится, а вот лучше Антона Иваныча отправить».

Как бы удивило всех, если б его вдруг не было где-нибудь на обеде или вечере!

– А где же Антон Иваныч? – спросил бы всякий непременно с изумлением. – Что с ним? да почему его нет?

И обед не в обед. Тогда уж к нему даже кого-нибудь и отправят депутатом проведать, что с ним, не заболел ли, не уехал ли? И если он болен, то и родного не порадуют таким участием.

Антон Иваныч подошёл к руке Анны Павловны.

– Здравствуйте, матушка Анна Павловна! с обновкой честь имею вас поздравить.

– С какой это, Антон Иваныч? – спросила Анна Павловна, осматривая себя с ног до головы.

– А мостик-то у ворот! видно, только что сколотили? что, слышу, не пляшут доски под колёсами? смотрю, ан новый!

Он, при встречах с знакомыми, всегда обыкновенно поздравляет их с чем-нибудь, или с постом, или с весной, или с осенью; если после оттепели мороз наступит, так с морозом, наступит после морозу оттепель – с оттепелью ...

На этот раз ничего подобного не было, но он что-нибудь да выдумает.

– Вам кланяются Александра Васильевна, Матрёна Михайловна, Пётр Сергеич, – сказал он.

– Покорно благодарю, Антон Иваныч! Детки здоровы ли у них?

– Слава богу. Я к вам веду благословение божие: за мной следом идёт батюшка. А слышали ли, сударыня: наш-то Семён Архипыч?..

– Что такое? – с испугом спросила Анна Павловна.

– Ведь приказал долго жить!

– Что вы! когда?

– Вчера утром. Мне к вечеру же дали знать: прискакал парнишко; я и отправился, да всю ночь не спал. Все в слезах: и утешать-то надо, и распорядиться: там у всех руки опустились: слёзы да слёзы, – я один.

– Господи, господа боже мой! – говорила Анна Павловна, качая головой, – жизнь-то наша! Да как же это могло случиться? он ещё на той неделе с вами же поклон прислал!

– Да, матушка! ну, да он давненько прихварывал, старик старый: диво, как до сих пор ещё не свалился!

– Что за старый! он годом только постарше моего покойника. Ну, царство ему небесное! – сказала, крестясь, Анна Павловна. – Жаль бедной Федосьи Петровны: осталась с деточками на руках. Шутка ли: пятеро, и все почти девочки! А когда похороны?

– Завтра.

– Видно, у всякого своё горе, Антон Иваныч; вот я так сына провожаю.

– Что делать, Анна Павловна, все мы человеки! «Терпи», сказано в священном писании.

– Уж не погневайтесь, что потревожила вас – вместе размыкать горе; вы нас так любите, как родной.

– Эх, матушка Анна Павловна! да кого же мне и любить-то, как не вас? Много ли у нас таких, как вы? Вы цены себе не знаете. Хлопот полон рот: тут и своя стройка вертится на уме. Вчера ещё бился целое утро с подрядчиком, да всё как-то не сходимся... а как, думаю, не поехать?.. что она там, думаю, одна-то, без меня станет делать? человек не молодой: чай, голову растеряет.

– Дай бог вам здоровья, Антон Иваныч, что не забываете нас! И подлинно сама не своя: такая пустота в голове, ничего не вижу! в горле совсем от слёз перегорело. Прошу закусить: вы и устали и, чай, проголодались.

– Покорно благодарю-с. Признаться, мимоездом пропустил маленькую у Петра Сергеевича да перехватил кусочек. Ну, да это не помешает. Батюшка подойдёт, пусть благословит! Да вот он и на крыльце!

Пришёл священник. Приехала и Марья Карповна с дочерью, полной и румяной девушкой, с улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и всё выражение лица Софьи явно говорили: «Я буду любить просто, без затей, буду ходить за мужем, как нянька, слушаться его во всём и никогда не казаться умнее его; да и как можно быть умнее мужа? это грех! Стану прилежно заниматься хозяйством, шить; рожу ему полдюжины детей, буду их сама кормить, нянчить, одевать и обшивать». Полнота и свежесть щёк её и пышность груди подтверждали обещание насчёт детей. Но слёзы на глазах и грустная улыбка придавали ей в эту минуту не такой прозаический интерес.

Прежде всего отслужили молебен, причём Антон Иваныч созвал дворню, зажгёт свечу и принял от священника книгу, когда тот перестал читать, и передал её дьячку, а потом отлил в скляночку святой воды, спрятал в карман и сказал: «Это Агафье Никитишне». Сели за стол. Кроме Антона Иваныча и священника, никто по обыкновению не дотронулся ни до чего, но зато Антон Иваныч сделал полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна всё плакала и украдкой утирала слёзы.

– Полно вам, матушка Анна Павловна, слёзы-то тратить! – сказал Антон Иваныч с приторной досадой, наполнив рюмку наливкой. – Что вы его, на убой, что ли, отправляете? – Потом, выпив до, половины рюмку, почавкал губами.

– Что за наливка! какой аромат пошёл! Этаким, матушка, у нас и по губернии-то не найдёшь! – сказал он с выражением большого удовольствия.

– Это тре... те... годнич... ная! – проговорила, всхлипывая, Анна Павловна, – нынче для вас... только... откупила.

– Эх, Анна Павловна, и смотреть-то на вас тошно, – начал опять Антон Иваныч, – вот некому бить-то вас; бил бы да бил!

– Сами посудите, Антон Иваныч, один сын, и тот с глаз долой: умру – некому и похоронить.

– А мы-то на что? что я вам, чужой, что ли? Да куда ещё торопитесь умирать? того гляди, замуж бы не вышли! вот бы поплясал на свадьбе! Да полноте плакать-то!

– Не могу, Антон Иваныч, право не могу; не знаю сама, откуда слёзы берутся.

– Этакого молодца взаперти держать! Дайте-ка ему волю, он расправит крылышки, да вот каких чудес наделает: нахватает там чинов!

– Вашими бы устами да мёд пить! Да что вы мало взяли пирожка? возьмите ещё!

– Возьму-с: вот только этот кусок съем.

– За ваше здоровье, Александр Федорыч! счастливого пути! да возвращайтесь скорее; да женитесь-ка! Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули?

– Я ничего... я так...

– Ох, молодёжь, молодёжь! хе, хе, хе!

– С вами горя не чувствуешь, Антон Иваныч, – сказала Анна Павловна, – так умеете утешить; дай бог вам здоровья! Да выкушайте ещё наливочки.

– Выпью, матушка, выпью, как не выпить на прощанье!

Кончился завтрак. Ямщик уже давно заложил повозку. Её подвезли к крыльцу. Люди выбегали один за другим. Тот нёс чемодан, другой – узел, третий – мешок, и опять уходил за чем-нибудь. Как мухи сладкую каплю, люди облепили повозку, и всякий совался туда с руками.

– Вот так лучше положить чемодан, – говорил один, – а тут бы коробок с провизией.

– А куда же они ноги денут? – отвечал другой, – лучше чемодан вдоль, а коробок можно сбоку поставить.

– Так тогда перина будет скатываться, коли чемодан вдоль: лучше поперёк. Что ещё? уклали ли сапоги-то?

– Я не знаю. Кто укладывал?

– Я не укладывал. Поди-ка погляди – нет ли там наверху?

– Да поди ты.

– А ты что? мне, видишь, некогда!

– Вот ещё, вот это не забудьте! – кричала девка, просовывая мимо голов руку с узелком.

– Давай сюда!

– Суньте и это как-нибудь в чемодан; давеча забыли, – говорила другая, привставая на подножку и подавая щёточку и гребёнку.

– Куда теперь совать? – сердито закричал на неё дородный лакей, – пошла ты прочь! видишь, чемодан под самым низом!

– Барыня велела; мне что за дело, хоть брось! вишь, черти какие!

– Ну, давай, что ли, сюда скорее; это можно вот тут сбоку в карман положить.

Коренная беспрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчик издавал всякий раз при этом резкий звук, напоминавший о разлуке, а пристяжные стояли задумчиво, опустив головы, как будто понимая всю прелесть предстоящего им путешествия, и изредка обмахивались хвостами или протягивали нижнюю губу к коренной лошади. Наконец настала роковая минута. Помолились ещё.

– Сядьте, сядьте все! – повелевал Антон Иваныч, – извольте сесть, Александр Федорыч! и ты, Евсей, сядь. Сядь же, сядь! – И сам боком, на секунду, едва присел на стул. – Ну, теперь с богом!

Вот тут-то Анна Павловна заревела и повисла на шею Александру.

– Прощай, прощай, мой друг! – слышалось среди рыданий, – увижу ли я тебя?..

Дальше ничего нельзя было разобрать. В эту минуту послышался звук другого колокольчика: на двор влетела телега, запряжённая тройкой. С телеги соскочил, весь в пыли, какой-то молодой человек, вбежал в комнату и бросился на шею Александру.

– Пospelов!.. – Адуев!.. – воскликнули они враз, тиская друг друга в объятиях.

– Откуда ты, как?

– Из дому, нарочно скакал целые сутки, чтоб проститься с тобой.

– Друг! друг! истинный друг! – говорил Адуев со слезами на глазах. – За сто шестьдесят вёрст прискакать, чтоб сказать прости! О, есть дружба в мире! навек, не правда ли? – говорил пылко Александр, стискивая руку друга и наскакывая на него.

– До гробовой доски! – отвечал тот, тиская руку ещё сильнее и наскакывая на Александра.

– Пиши ко мне!

– Да, да, и ты пиши!

Анна Павловна не знала, как и обласкать Пospelова. Отъезд замедлился на полчаса. Наконец собрались.

Все пошли до роши пешком. Софья и Александр в то время, когда переходили тёмные сени, бросились друг к другу.

– Саша! Милый Саша!.. – Сонечка! – шептали они, и слова замерли в поцелуе.

– Вы забудете меня там? – сказала она слезливо.

– О, как вы меня мало знаете! я ворочусь, поверьте, и никогда другая...

– Вот возьмите скорей: это мои волосы и колечко.

Он проворно спрятал и то и другое в карман.

Впереди пошли Анна Павловна с сыном и с Пospelовым, потом Марья Карловна с дочерью, наконец священник с Антоном Иванычем В некотором отдалении ехала повозка. Ямщик едва сдерживал лошадей. Дворня окружила в воротах Евсея.

– Прощай, Евсей Иваныч, прощай, голубчик, не забывай нас! – слышалось со всех сторон.

– Прощайте, братцы, прощайте, не поминайте лихом!

– Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный! – говорила мать, обнимая его, – вот тебе образок; это моё благословение. Помни веру, Евсей, не уйди там у меня в бусурманы! а не то прокляну! Не пьянствуй, не воруй; служи барину верой и правдой. Прощай, прощай!..

Она закрыла лицо фартуком и отошла.

– Прощай, матушка! – лениво проворчал Евсей. К нему бросилась девчонка лет двенадцати.

– Простись с сестрёнкой-то! – сказала одна баба.

– И ты туда же! – говорил Евсей, целуя её, – ну, прощай, прощай! пошла теперь, босоногая, в избу!

Отдельно от всех, последняя стояла Аграфена. Лицо у неё позеленело.

– Прощайте, Аграфена Ивановна! – сказал протяжно, возвысив голос, Евсей и протянул к ней руки.

Она дала себя обнять, но не отвечала на объятие; только лицо её искривилось.

– На вот тебе! – сказала она, вынув из-под передника и сунув ему мешок с чем-то. – То-то, чай, там с петербургскими-то загуляешь! – прибавила она, поглядев на него искоса. И в этом взгляде выразилась вся тоска её и вся ревность.

– Я загуляю, я? – начал Евсей. – Да разрази меня на этом месте господь, лопни мои глаза! чтоб мне сквозь землю провалиться, коли я там что-нибудь этакое...

– Ладно! ладно! – недоверчиво бормотала Аграфена, – а сам-то – у!

– Ах, чуть не забыл! – сказал Евсей и достал из кармана засаленную колоду карт. – Натё, Аграфена Ивановна, вам на память; ведь вам здесь негде взять.

Она протянула руку.

– Подари мне, Евсей Иваныч! – закричал из толпы Прошка.

– Тебе! да лучше сожгу, чем тебе подарю! – и он спрятал карты в карман.

– Да мне-то отдай, дурачина! – сказала Аграфена.

– Нет, Аграфена Ивановна, что хотите делайте, а не отдам; вы с ним станете играть. Прощайте!

Он, не оглянувшись, махнул рукой и лениво пошёл вслед за повозкой, которую бы, кажется, вместе с Александром, ямщиком и лошадьми мог унести на своих плечах.

– Проклятый! – говорила Аграфена, глядя ему вслед и утирая концом платка капавшие слёзы.

У рощи остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась с сыном, Антон Иваныч потрепал одну лошадь по шее, потом взял её за ноздри и потряс в обе стороны, чем та, казалось, вовсе была недовольна, потому что оскалила зубы и тотчас же фыркнула.

– Подтяни подпругу у коренной-то, – сказал он ямщику, – вишь, седёлка-то на боку!

Ямщик посмотрел на седёлку и, увидев, что она на своём месте, не тронулся с козел, а только кнутом поправил немного шлею.

– Ну, пора, бог с вами! – говорил Антон Иваныч, – полно, Анна Павловна, вам мучить-то себя! А вы садитесь, Александр Федорыч; вам надо засветло добраться до Шишкова. Прощайте, прощайте, дай бог вам счастья, чинов, крестов, всего доброго и хорошего, всякого добра и имущества!!! Ну, с богом, трогай лошадей, да смотри там косогором-то легче поезжай! – прибавил он, обращаясь к ямщику.

Александр сел, весь расплаканный, в повозку, а Евсей подошёл к барыне, поклонился ей в ноги и поцеловал у ней руку. Она дала ему пятирублёвую ассигнацию.

– Смотри же, Евсей, помни: будешь хорошо служить, женю на Аграфене, а не то...

Она не могла говорить дальше. Евсей взобрался на козлы. Ямщик, наскучивший долгим ожиданием, как будто ожил; он прижал шапку, поправился на месте и поднял вожжи; лошади тронулись сначала лёгкой рысью. Он хлестнул пристяжных разом одну за другой, они скакнули, вытянулись, и тройка ринулась по дороге в лес. Толпа провожавших осталась в облаке пыли безмолвна и неподвижна, пока повозка не скрылась совсем из глаз. Антон Иваныч опомнился первый.

– Ну, теперь по домам! – сказал он.

Александр смотрел, пока можно было, из повозки назад, потом упал на подушки лицом вниз.

– Не оставьте вы меня, горемычную, Антон Иваныч! – оказала Анна Павловна, – отобедайте здесь!

– Хорошо, матушка, я готов: пожалуй, и отужинаю.

– Да вы бы уж и ночевали.

– Как же: завтра похороны!

– Ах, да! Ну, я вас не неволю. Кланяйтесь Федосье Петровне от меня, – скажите, что я душевно огорчена её печалью и сама бы навестила, да вот бог, дескать, и мне послал горе – сына проводила.

– Скажу-с, скажу, не забуду.

– Голубчик ты мой, Сашенька! – шептала она, оглядываясь, – и нет уж его, скрылся из глаз!

Адуева просидела целый день молча, не обедала и не ужинала. Зато говорил, обедал и ужинал Антон Иваныч.

– Где-то он теперь, мой голубчик? – скажет только она иногда.

– Уж теперь должен быть в Неплюеве. Нет, что я вру? ещё не в Неплюеве, а подъезжает; там чай будет пить, – отвечает Антон Иваныч.

– Нет, он в это время никогда не пьёт.

И так Анна Павловна мысленно ехала с ним. Потом, когда он, по расчётам её, должен был уже приехать в Петербург, она то молилась, то гадала в карты, то разговаривала о нём с Марьей Карповной.

А он?

С ним мы встретимся в Петербурге.

II

Пётр Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же как и этот, двадцати лет был отправлен в Петербург старшим своим братом, отцом Александра, и жил там безвыездно семнадцать лет. Он не переписывался с родными после смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о нём с тех пор, как он продал своё небольшое имение, бывшее недалеко от её деревни.

В Петербурге он слыл за человека с деньгами, и, может быть, не без причины; служил при каком-то важном лице чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака; жил на большой улице, занимал хорошую квартиру, держал троих людей и

столько же лошадей. Он был не стар, а что называется «мужчина в самой поре» – между тридцатью пятью и сорока годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих годах, не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчёта, как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мере в его манере скрывать настоящие лета не видно было суетной претензии нравиться прекрасному полу.

Он был высокий, пропорционально сложенный мужчина, с крупными, правильными чертами смугло-матового лица, с ровной, красивой походкой, с сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют *bel homme*¹.

В лице замечалась также сдержанность, то есть умение владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно – и для себя и для других. Таков он был в свете. Нельзя, однако ж, было назвать лица его деревянным: нет, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на нём следы усталости – должно быть, от усиленных занятий. Он слыл за деятельного и делового человека. Одевался он всегда тщательно, даже щеголевато, но не чересчур, а только со вкусом; бельё носил отличное; руки у него были полны и белы, ногти длинные и прозрачные.

Однажды утром, когда он проснулся и позвонил, человек, вместе с чаем, принёс ему три письма и доложил, что приходил какой-то молодой барин, который называл себя Александром Федорычем Адуевым, а его – Петра Ивановича – дядей, и обещался зайти часу в двенадцатом.

Пётр Иванович по обыкновению выслушал это известие покойно, только немного наострил уши и поднял брови.

– Хорошо, поди, – сказал он слуге. Потом взял одно письмо, хотел распечатать, но остановился и задумался.

– Племянник из провинции – вот сюрприз! – ворчал он, – а я надеялся, что меня забыли в том краю! Впрочем, что с ними церемониться! отделаюсь...

Он опять позвонил.

– Скажи этому господину, как придёт, что я, вставши, тотчас уехал на завод и ворочусь через три месяца.

– Слушаю-с, – отвечал слуга, – а с гостинцами что прикажете делать?

– С какими гостинцами?

– Привёз их человек: барыня, говорит, деревенских гостинцев прислала.

– Гостинцев?

– Да-с: кадочка мёду, мешок сушёной малины...

Пётр Иванович пожал плечами.

– Ещё два куска полотна, да варенье...

– Воображаю, хорошо должно быть полотно...

– Полотно хорошее и варенье сахарное.

– Ну, поди, я посмотрю сейчас.

Он взял одно письмо, распечатал и окинул взглядом страницу. Точно крупная славянская грамота: букву *в* заменяли две перечёркнутые сверху и снизу палочки, а букву *к* просто две палочки; писано без знаков препинания.

Адуев стал читать вполголоса:

«М. г. Пётр Иванович!

Будучи с покойным вашим родителем коротко знакомы и приятели, да и вас самих в детстве тешил немало и в доме вашем частенько хлеба и соли отведывал, потому и питаю уверительную надежду на ваше усердие

¹ Представительный человек (*фр.*)

и благорасположение, что не забыли старика, Василия Тихоныча, а мы вас здесь и родителей ваших всячески добром поминаем и бога молим...»

– Что за дичь? От кого это? – сказал Пётр Иванович, поглядев на подпись. – Василий Заезжалов! Заезжалов – хоть убей – не помню. Чего он хочет от меня?

И стал читать дальше.

«А моя покорнейшая просьба и добука к вам – не откажите, батюшка, вам в Петербурге не то, что нам, здешним, чай, всё известно и всё своё да родное. Навязалось на меня проклятое тяжёлое дело, да вот седьмой год и с шеи не могу спихнуть: изволите помнить лешишко, что в двух верстах от моей деревушки? Палата сделала ошибку в купчей, а противник мой, Медведев, и упёрся на неё: пункт, говорит, фальшивый, да и только. Медведев тот самый, что в ваших дачах всё без спросу рыбу ловил; покойник батюшка ваш гонял его и срамил, хотел на своеволие и губернатору жаловаться, да по доброте, дай бог ему царствие небесное, спускал, а не надо бы шадить этакого злодея. Помогите, батюшка, Пётр Иванович; дело теперь в Правительствующем сенате; не знаю там, в каком департаменте и у кого, да вам, чай, сейчас покажут. Съездите к секретарям и сенаторам, склоните их в мою пользу, скажите, что от ошибки, истинно от ошибки в купчей страдаю: для вас всё сделают. Там же уж кстати выхлопочите мне патенты на три чина да пришлите ко мне. Ещё, батюшка, Пётр Иванович, есть дельце до вас крайней потребности: взойдите в сердечное участие к безвинно-угнетённому страдальцу и помогите советом и делом. Есть у нас в губернском правлении советник Дрожзов, золото, а не человек; умрёт, а своего не выдаст; в городе другой квартиры не знаю, как у него, – как приеду, прямо к нему, живу по неделям – и боже сохрани – и подумать у другого остановиться, закормит, запоит; а бостончик от обеда до глубокой ночи. И этакого-то человека обнесли и ныне нудят подать просьбу об отставке. Побывайте, отец родной, у всех вельмож там, внушите им, какой человек Афанасий Иванович; дело ли делать – так и кипит в руках; скажите, что донос, дескать, на него сделан фальшиво, по проискам губернаторского секретаря, – вас послушают, и отпишут с первой почтой ко мне. Да повидайтесь со старинным моим сослуживцем, Костяковым. Я слышал от одного приезжего, Студеницына, вашего же петербургского – чай, изволите знать, – что он живёт на Песках; там ребятишки укажут дом; отпишут с той же почтой, не поленитесь, жив ли он, здоров ли, что делает, помнит ли меня? Познакомьтесь и подружитесь с ним: прекрасный человек – душа нараспашку, и балагур такой. Кончаю письмецо ещё просьбицей...»

Адуев перестал читать, медленно разорвал письмо на четыре части и бросил под стол в корзинку, потом потянулся и зевнул.

Он взял другое письмо и начал читать также вполголоса.

«Любезный братец, милостивый государь, Пётр Иванович!»

– Это что за сестрица! – сказал Адуев, глядя на подпись: – Марья Горбатова... – Он обратил лицо к потолку, припоминая что-то...

– Что бишь это такое? что-то знакомое... ба, вот прекрасно – ведь брат женат был на Горбатовой; это её сестра, это та... а! помню...

Он нахмурился и стал читать.

«Хотя рок разлучил нас, может быть, навеки и бездна лежит между нами; прошли года...»

Он пропустил несколько строчек и читал далее:

«По гроб жизни буду помнить, как мы вместе, гуляючи около нашего озера, вы, с опасностью жизни и здоровья, влезли по колено в воду и достали для меня в тростнике большой жёлтый цветок, как из стебелька оного тёк какой-то сок и перемарал нам руки, а вы почерпнули картузом воды, дабы мы могли их вымыть; мы очень много тогда этому смеялись. Как я была тогда счастлива! Сей цветок и ныне хранится в книжке...»

Адуев остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось; он даже недоверчиво покачал головой.

«А цела ли у вас та ленточка (продолжал он читать), что вы вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления...»

– Я вытащил ленточку! – сказал он вслух, сильно нахмурившись. Помолчав, пропустил ещё несколько строк и читал:

«А я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливою; никто не запретит вспоминать сии блаженные времена...»

«А, старая девка! – подумал Пётр Иванович. – Немудрёно, что у ней ещё жёлтые цветы на уме! Что там ещё?»

«Женаты ли вы, любезнейший братец, и на ком? Кто та милая подруга, украсившая собой путь вашего бытия, назовите мне её; я буду её любить, как родную сестру, и в мечтах соединять образ её с вашим, буду молиться. А если не женаты, то по какой причине – напишите откровенно: ваших тайн никто у меня не прочтёт, я буду хранить их на своей груди, их вырвут у меня вместе с сердцем. Не медлите; сгораю нетерпением читать ваши неизъяснимые строки...»

«Нет, вот твои так неизъяснимые строки!» – подумал Пётр Иванович.

«Я не знала (читал он), что милый наш Сашенька вдруг вздумает посетить великолепную столицу, – счастливцев! увидит прекрасные дома и магазины, будет наслаждаться роскошью и прижмёт к своей груди обожаемого дядю, – а я, я в то время буду лить слёзы, вспоминая счастливое время. Если бы я знала о его отъезде, дни и ночи сидела бы и вышила бы для вас подушку: арап с двумя собаками; вы не поверите, как я много раз плакала, глядя на сей узор: что может быть святее дружбы и верности?... Теперь меня занимает сия одна мысль; ей посвящу дни свои, но не имею здесь хорошей шерсти, и потому покорнейше прошу, любезнейший братец, выслать. вот по этим образчикам, что я тут вложила, что ни есть наилучшей английской шерсти, в самом скором времени, из первого магазина. Но что я говорю? какая ужасная мысль останавливает перо моё! может быть, уже вы забыли нас, и где вам помнить бедную страдальницу, которая удалилась от света и льёт слёзы? Но нет! я не могу подумать, чтоб вы могли быть извергом, как все мужчины: нет! мне сердце говорит, что вы сохранили к нам ко всем прежние чувствования среди роскоши и удовольствий великолепной столицы. Сия мысль служит бальзамом для моего страждущего сердца. Простите, не могу более продолжать, рука моя дрожит...»

Остаюсь по гроб ваша
Марья Горбатова.

P. S. Нет ли, братец, у вас хорошеньких книжек? пришлите, если вам не нужно: я бы на каждой странице вспоминала вас, плакала бы, или возьмите в лавке новых, коли недорого. Говорят, очень хороши сочинения господина Загоскина² и господина Марлинского³, – хоть их; а то я ещё видела в газетах заглавие – «О Предрассудках», соч. г-на Пузины, – пришлите – я терпеть не могу предрассудков».

Прочитав, Адуев хотел отправить туда же и это письмо, но остановился.

«Нет, – подумал он, – сберегу: есть охотники до таких писем; иные собирают целые коллекции, – может быть, случится одолжить кого-нибудь».

Он бросил письмо в бисерную корзинку, висевшую на стене, потом взял третье письмо и начал читать:

«Любезнейший мой деверёк Пётр Иваныч!

Помните ли, как семнадцать годков тому назад мы справляли ваш отъезд? Вот привёл бог благословить на дальний путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него да вспомните покойника, нашего голубчика Фёдора Иваныча: ведь Сашенька весь в него. Бог один знает, что вытерпело моё материнское сердце, отпускаючи его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо к вам: не велела нигде приставать, кроме вас...»

Адуев опять покачал головой.

– Глупая старуха! – проворчал он и читал:

«Он, пожалуй, по неопытности, остановился бы на постоялом дворе, но я знаю, как это может огорчить родного дядю, и внушила взехать прямо к вам. То-то будет у вас радости при свидании! Не оставьте его, любезный деверёк, вашими советами и возьмите на своё попечение; передаю его вам с рук на руки».

Пётр Иваныч опять остановился.

«Ведь вы там один у него (читал он потом). Присмотрите за ним, не балуйте уж слишком-то, да и не взыскивайте очень строго: взыскать-то будет кому, взыщут и чужие, а приласкать некому, кроме своего; он же сам такой ласковый: вы только увидите его, так и не отойдёте. И начальнику-то, у которого он будет служить, скажите, чтоб берёт моего Сашеньку и обращался бы с ним понежнее пуще всего: он у меня был нежненький. Остерегайте его от вина и от карт. Ночью, – ведь вы, я чай, в одной комнате будете спать, – Сашенька привык лежать на спине: от этого, сердечный, больно стонет и мечется; вы тихонько разбудите его да перекрестите: сейчас и пройдёт, а летом покрывайте ему рот платочком: он его разевает во сне, а проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставьте его также в случае нужды и деньгами...»

Адуев нахмурился, но вскоре лицо его опять прояснилось, когда он прочёл далее:

² Загоскин М. Н. (1789–1852) – исторический романист. Наибольшей популярностью в 30-х годах пользовался его роман «Юрий Милославский», проникнутый идеализацией старины и монархическим патриотизмом.

³ Марлинский – литературный псевдоним декабриста А. А. Бестужева (1797–1837). В романе упоминается как автор романтических повестей (30-е годы), отличавшихся эффектной фабулой, возвышенным описанием чувств и крайне вычурным и риторическим языком. С резкой критикой условного, фальшивого романтизма Марлинского выступил в 1840 году В. Белинский, что привело к решительному падению популярности сочинений Марлинского и его подражателей.

«А я вышлю, что понадобится, да и ему в руки дала теперь тысячу рублей, только чтоб он не тратил их на пустяки, да чтоб у него подлипалы не выманили, ведь там у вас, в столице, слышь, много мошенников и всяких бессовестных людей. А затем простите, дорогой деверь, – совсем отвыкла писать. Остаюсь душевно почитающая вас невестка

А. Адуева.

Р. S. Посылаю при этом наших деревенских гостинцев – малинки из своего сада, белого медку – чистый, как слеза, – полотно голландского на две дюжины рубашек да домашнего вареньица. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут – ещё пришлю. Присмотрите и за Евсеем; он смиренный и не пьющий, да, пожалуй там, в столице, избалуется, – тогда можно и посечь».

Пётр Иваныч медленно положил письмо на стол, ещё медленнее достал сигару и, показав её в руках, начал курить. Долго обдумывал он эту штуку, как он называл её мысленно, которую сыграла с ним его невестка. Он строго разобрал в уме и то, что сделали с ним, и то, что надо было делать ему самому.

Вот на какие посылки разложил он весь этот случай. Племянника своего он не знает, следовательно и не любит, а поэтому сердце его не возлагает на него никаких обязанностей: надо решать дело по законам рассудка и справедливости. Брат его женился, наслаждался супружеской жизнью, – за что же он, Пётр Иваныч, обременит себя заботливостью о братнем сыне, он, не наслаждавшийся выгодами супружества? Конечно, не за что.

Но, с другой стороны, представлялось вот что: мать отправила сына прямо к нему, на его руки, не зная, захочет ли он взять на себя эту обузу, даже не зная, жив ли он и в состоянии ли сделать что-нибудь для племянника. Конечно, это глупо; но если дело уже сделано и племянник в Петербурге, без помощи, без знакомых, даже без рекомендательных писем, молодой, без всякой опытности... вправе ли он оставить его на произвол судьбы, бросить в толпе, без наставлений, без совета, и если с ним случится что-нибудь недоброе – не будет ли он отвечать перед совестью?..

Тут кстати Адуев вспомнил, как, семнадцать лет назад, покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него в Петербурге, он сам нашёл себе дорогу... но он вспомнил её слёзы при прощанье, её благословения, как матери, её ласки, её пироги и, наконец, её последние слова: «Вот, когда вырастет Сашенька – тогда ещё трёхлетний ребёнок, – может быть, и вы, братец, приласкаете его...» Тут Пётр Иваныч встал и скорыми шагами пошёл в переднюю...

– Василий! – сказал он, – когда придёт мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здесь вверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, так скажи, что я оставляю её за собой. А! это гостинцы! Ну что мы станем с ними делать?

– Давеча наш лавочник видел, как несли их вверх; он спрашивал, не уступим ли ему мёд: «Я, говорит, хорошую цену дам», и малину берёт...

– Прекрасно! отдай ему. Ну, а полотно куда девать? разве не годится ли на чехлы?.. Так спрячь полотно и варенье спрячь – его можно есть: кажется, порядочное.

Только что Пётр Иваныч расположился бриться, как явился Александр Федорыч. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную, юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием.

– Мать твоя правду пишет, – сказал он, – ты живой портрет покойного брата: я бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты садись вот сюда – напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать.

За этим Пётр Иванович начал делать своё дело, как будто тут никого не было, и намыливал щёки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приёмом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяди тому, что не остановился прямо у него.

– Ну, что твоя матушка? здорова ли? Я думаю, постарела? – спросил дядя, делая разные гримасы перед зеркалом.

– Маменька, слава богу, здорова, кланяется вам, и тётушка Марья Павловна тоже, – сказал робко Александр Федорыч. – Тётушка поручила мне обнять вас... – Он встал и подошёл к дяде, чтоб поцеловать его в щёку, или в голову, или в плечо, или, наконец, во что удастся.

– Тётушке твоей пора бы с летами быть умнее, а она, я вижу, всё такая же дура, как была двадцать лет тому назад...

Озадаченный Александр задом воротился на своё место.

– Вы получили, дядюшка, письмо?... – сказал он.

– Да, получил.

– Василий Тихоныч Заезжалов, – начал Александр Федорыч, – убедительно просит вас справиться и похлопотать о его деле...

– Да, он пишет ко мне... У вас ещё не перевелись такие ослы?

Александр не знал, что и подумать – так его сразили эти отзывы.

– Извините, дядюшка... – начал он почти с трепетом.

– Что?

– Извините, что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилижансов... Я не знал вашей квартиры...

– В чём тут извиняться? Ты очень хорошо сделал. Матушка твоя бот знает что выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не зная, можно ли у меня остановиться, или нет? Квартира у меня, как видишь, холостая, для одного: зала, гостиная, столовая, кабинет, ещё рабочий кабинет, гардеробная да туалетная – лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а ты меня... А я нашёл для тебя здесь же в доме квартиру...

– Ах, дядюшка! – сказал Александр, – как мне благодарить вас за эту заботливость?

И он опять вскочил с места с намерением словом и делом доказать свою признательность.

– Тише, тише, не трогай! – заговорил дядя, – бритвы преострые, того и гляди обрежешься сам и меня обрежешь.

Александр увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу обнять и прижать к груди обожаемого дядю, и отложил это намерение до другою раз.

– Комната превеселенькая, – начал Пётр Иванович, окнами немного в стену приходится, да ведь ты не станешь всё у окна сидеть; если дома, так займёшься чем-нибудь, а в окна зевать некогда. И недорого – сорок рублей в месяц. Для человека есть передняя. Надо привыкаться тебе с самого начала жить одному, без няньки; завести своё маленькое хозяйство, то есть иметь дома свой стол, чай, словом свой угол, – *un chez soi*, как говорят французы. Там ты можешь свободно принимать кого хочешь... Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя, а в другие дни – здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире, но я советую тебе посылать за своим обедом: дома и покойнее и не рискуешь столкнуться бог знает с кем. Так ли?

– Я, дядюшка, очень благодарен...

– Что за благодарность? ведь ты мне родня? я исполняю свой долг. Ну, я теперь оденусь и поеду; у меня и служба и завод...

– Я не знал, дядюшка, что у вас есть завод.

– Стекланный и фарфоровый; впрочем, я не один: нас трое компаньонов.

– Хорошо идёт?

– Да, порядочно; сбываем больше во внутренние губернии на ярмарки. Последние два года – хоть куда! Если б ещё этак лет пять, так и того... Один компаньон, правда, не очень надёжен – всё мотает, да я умею держать его в руках. Ну, до свидания. Ты теперь посмотри город, пофлянируй, пообедай где-нибудь, а вечером приходи ко мне пить чай, я дома буду, – тогда поговорим. Эй, Василий! ты покажешь им комнату и поможешь там устроиться.

«Так вот как здесь, в Петербурге... – думал Александр, сидя в новом своем жилище, – если родной дядя так, что ж прочие?..»

Молодой Адуев ходил взад и вперед по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил сам с собою, убирая комнату:

«Что это за житьё здесь, – ворчал он, – у Петра Иваныча кухня-то, слышь, раз в месяц топится, люди-то у чужих обедают... Эко, господи! ну, народец! нечего сказать, а ещё петербургские называются! У нас и собака каждая из своей площадки лакает».

Александр, кажется, разделял мнение Евсея, хотя и молчал. Он подошёл к окну и увидел одни трубы, да крыши, да чёрные, грязные, кирпичные бока домов... и сравнил с тем, что видел, назад, тому две недели, из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно.

Он вышел на улицу – суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна. То вот Иван Иваныч идёт к Петру Петровичу – и все в городе знают, зачем. То Марья Мартыновна едет от вечерни, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал сломя голову жандарм от губернатора к доктору, и всякий знает, что её превосходительство изволит родить, хотя по мнению разных кумушек и бабушек об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают что: дочку или сына? Барыни готовят парадные чепцы. Вон Матвей Матвейч вышел из дому, с толстой палкой, в шестом часу вечера, и всякому известно, что он идёт делать вечерний моцион, что у него без того желудок не варит и что он остановится непременно у окна старого советника, который, также известно, пьёт в это время чай. С кем ни встретишься – поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идёт, и у того в глазах написано: и я знаю, кто вы, куда и зачем идёте. Если, наконец, встретятся незнакомые, ещё не издавшие друг друга, то вдруг лица обоих превращаются в знаки вопроса; они остановятся и оборотятся назад раза два, а пришедши домой, опишут и костюм и походку нового лица, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою.

Александр сначала с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя: «Не он ли? – думал он, – не этот ли?» Но вскоре это надоело ему – министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу.

Он посмотрел на дома – и ему стало ещё скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, – думал он, – или горка, или зелень, или развалившийся забор», – нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов, с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, её преграждает опять то же, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево – всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, всё одно да одно... нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, – кажется, и мысли и чувства людские также заперты.

Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно; его никто не замечает; он потерялся здесь; ни новости, ни разнообразие, ни толпа не развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не видел у себя. Он задумывается и мысленно переносится в свой город. Какой отрадный вид! Один

дом с остроконечной крышей и с палисадничком из акаций. На крыше надстройка, приют голубей, – купец Изюмин охотник гонять их: для этого он взял да и выстроил голубятню на крыше; и по утрам и по вечерам, в колпаке, в халате, с палкой, к концу которой привязана тряпица, стоит на крыше и посвистывает, размахивая палкой. Другой дом – точно фонарь: со всех четырёх сторон весь в окнах и с плоской крышей, дом давней постройки; кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самовозгорания; тёс принял какой-то светло-серый цвет. Страшно жить в таком доме, но там живут. Хозяин иногда, правда, посмотрит на скопившийся потолок и покачает головой, примолвив: «Простоит ли до весны? Авось!» – скажет потом и продолжает жить, опасаясь не за себя, а за карман. Подле него кокетливо красуется дикенький дом лекаря, раскинувшийся полукружием, с двумя похожими на будки флигелями, а этот весь спрятался в зелени; тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки, искушение мальчишек. От церквей дома отступили на почтительное расстояние. Кругом их растёт густая трава, лежат надгробные плиты. Присутственные места – так и видно, что присутственные места: близко без надобности никто не подходит. А тут, в столице, их и не отличишь от простых домов, да ещё, срам сказать, и лавочка тут же в доме. А пройдёшь там, в городе, две, три улицы, уж и чуешь вольный воздух, начинаются плетни, за ними огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука – и на улице и в людях тот же благодатный застой! И все живут вольно, нараспашку, никому не тесно; даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам, козы и коровы щиплют траву, ребяташки пускают змей.

А здесь... какая тоска! И провинциал вздыхает, и по заборе, который напротив его окон, и по пыльной и грязной улице, и по тряскому мосту, и по вывеске на питейной конторе. Ему противно сознаться, что Исакиевский собор лучше и выше собора в его городе, что зала Дворянского собрания больше залы тамошней. Он сердито молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнёт сказать, что такую-то материю или такое-то вино можно у них достать и лучше и дешевле, а что на заморские редкости, этих больших раков и раковин, да красных рыбок, там и смотреть не станут, и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи да безделушки; они обдирают вас, а вы и рады быть олухами! Зато, как он вдруг обрадуется, как посравнит да увидит, что у него в городе лучше икра, груши или калачи. «Так это-то называется груша у вас? – скажет он, – да у нас это *и люди* не станут есть!..»

Ещё более взгрустнётся провинциалу, как он войдёт в один из этих домов, с письмом издалека. Он думает, вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить; станут искусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, как он, под конец, бросит все церемонии, расцелует хозяйина и хозяйку, станет говорить им *ты*, как будто двадцать лет знакомы, все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню...

Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральского часу вовсе не знают – ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами: тут-то бы и пригласить, а его искусными намёками стараются выпроводить... Всё назаперти, везде колокольчики: не мизерно ли это? да какие-то холодные, нелюдимые лица. А там, у нас, входи смело; если отобедали, так опять для гостя станут обедать; самовар утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков и в магазинах нет. Обнимаются, целуются все, и встречный и поперечный. Сосед там – так настоящий сосед, живут рука в руку, душа в душу; родственник – так родственник: умрёт за своего... эх, грустно!

Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он с час простоял перед *Медным Всадником*, но не с горьким упреком в душе, как бедный *Евгений*⁴, а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие её здания – и глаза его засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к тряским мостам, палисадникам, разрушенным заборами. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа – всё в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением; новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира... В этих мечтах воротился он домой.

Вечером, в 11 часов, дядя прислал звать его пить чай.

– Я только что из театра, – сказал дядя, лёжа на диване.

– Как жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка: я бы пошёл вместе с вами.

– Я был в креслах, куда ж ты, на колени бы ко мне сел? – сказал Пётр Иванович, – вот завтра поди себе один.

– Одному грустно в толпе, дядюшка; не с кем поделиться впечатлением...

– И незачем! надо уметь и чувствовать и думать, словом жить одному; со временам понадобится. Да ещё тебе до театра надо одеться прилично.

Александр посмотрел на своё платье и удивился словам дяди. «Чем же я неприлично одет? – думал он, – синий сюртук, синие панталоны...»

– У меня, дядюшка, много платья, – сказал он, – шил Кенигштейн; он у нас на губернатора работает.

– Нужды нет, всё-таки оно не годится, на днях я завезу тебя к своему портному; но это пустяки. Есть о чём важнее поговорить. Скажи-ка, зачем ты сюда приехал?

– Я приехал... жить.

– Жить? то есть если ты разумеешь под этим есть, пить и спать, так не стоило труда ездить так далеко: тебе так не удастся ни поесть, ни поспать здесь, как там, у себя; а если ты думал что-нибудь другое, так объяснись...

– Пользоваться жизнью, хотел я сказать, – прибавил Александр, весь покраснев, – мне в деревне надоело – всё одно и то же...

– А! вот что! Что ж, ты наймёшь бельэтаж на Невском проспекте, заведёшь карету, составишь большой круг знакомства, откроешь у себя дни?

– Ведь это очень дорого, – заметил наивно Александр.

– Мать пишет, что она дала тебе тысячу рублей: этого мало, – сказал Пётр Иванович. – Вот один мой знакомый недавно приехал сюда, ему тоже надоело в деревне; он хочет пользоваться жизнью, так тот привёз пятьдесят тысяч и ежегодно будет получать по столько же. Он точно будет пользоваться жизнью в Петербурге, а ты – нет! ты не за тем приехал.

– По словам вашим, дядюшка, выходит, что я как будто сам не знаю, зачем я приехал.

– Почти так; это лучше сказано: тут есть правда; только всё ещё нехорошо. Неужели ты, как сбирался сюда, не задал себе этого вопроса: зачем я еду? Это было бы не лишнее.

– Прежде, нежели я задал себе этот вопрос, у меня уже был готов ответ! – с гордостью отвечал Александр.

– Так что же ты не говоришь? ну, зачем?

– Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить и осуществить...

Пётр Иванович приподнялся немного с дивана, вынул из рта сигару и наострил уши.

– Осуществить те надежды, которые толпились...

– Не пишешь ли ты стихов? – вдруг спросил Пётр Иванович.

⁴ Евгений – герой поэмы А. С. Пушкина «Медный Всадник» (1833).

– И прозой, дядюшка; прикажете принести?
– Нет, нет!.. после когда-нибудь; я так только спросил.
– А что?
– Да ты так говоришь...
– Разве нехорошо?
– Нет, – может быть, очень хорошо, да дико.
– У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором, – сказал смутившийся Александр.

– О чём же он так говорил?

– О своём предмете.

– А!

– Как же, дядюшка, мне говорить?

– Попроще, как все, а не как профессор эстетики. Впрочем, этого вдруг растолковать нельзя; ты после сам увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетские лекции и перевести твои слова, что ты приехал сюда делать карьеру и фортуны, – так ли?

– Да, дядюшка, карьеру...

– И фортуны, – прибавил Пётр Иваныч, – что за карьера без фортуны? Мысль хороша – только... напрасно ты приезжал.

– Отчего же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это? – сказал Александр, глядя вокруг себя.

– Дельно замечено. Точно, я хорошо обставлен, и дела мои недурны. Но, сколько я посмотрю, ты и я – большая разница.

– Я никак не смею сравнивать себя с вами...

– Не в том дело; ты, может быть, вдесятеро умнее и лучше меня... да у тебя, кажется, натура не такая, чтоб поддалась новому порядку; а тамошний порядок – ой, ой! Ты, вон, изнежен и избалован матерью; где тебе выдержать всё, что я выдержал? Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда; подобные нам ездят сюда дело делать.

– Может быть, я в состоянии что-нибудь сделать, если вы не оставите меня вашими советами и опытностью...

– Советовать – боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру: выйдет вздор – станешь пенять на меня; а мнение своё сказать, изволь – не отказываюсь, ты слушай или не слушай, как хочешь. Да нет! я не надеюсь на удачу. У вас там свой взгляд на жизнь: как переработаете его? Вы помешались на любви, на дружбе, да на прелестях жизни, на счастье; думают, что жизнь только в этом и состоит: ах да ох! Плачут, хнычут да любезничают, а дела не делают... как я отучу тебя от всего этого? – мудрёно!

– Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принёсшие нам дары дальних стран, я подумал об успехах современного человечества, я понял волнение этой разумно-деятельной толпы, готов слиться с нею...

Пётр Иваныч при этом монологе значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника. Тот остановился.

– Дело, кажется, простое, – сказал дядя, – а они бог знает что заберут в голову... «разумно-деятельная толпа»!! Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и красноречивым человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил бы до старости и в самом деле был бы по-своему счастлив; а по-здешнему ты счастлив не будешь: здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном.

– Как, дядюшка, разве дружба и любовь – эти священные и высокие чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь...

– Что?

Александр замолчал.

– «Любовь и дружба в грязь упали!» Ну, как ты этак здесь брякнешь?

– Разве они не те же и здесь, как там? – хочу я сказать.

– Есть и здесь любовь и дружба, – где нет этого добра? только не такая, как там, у вас; со временем увидишь сам... Ты прежде всего забудь эти *священные* да *небесные* чувства, а приглядывайся к делу так, проще, как оно есть, право, лучше, будешь и говорить проще. Впрочем, это не моё дело. Ты приехал сюда, не ворочаться же назад: если не найдёшь, чего искал, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там, как хочешь... Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать. Да! матушка просила снабжать тебя деньгами... Знаешь, что я тебе скажу: не проси у меня их: это всегда нарушает доброе согласие между порядочными людьми. Впрочем, не думай, чтоб я тебе отказывал: нет, если придётся так, что другого средства не будет, так ты, нечего делать, обратись ко мне... Всё у дяди лучше взять, чем у чужого, по крайней мере без процентов. Да чтоб не прибегать к этой крайности, я тебе поскорей найду место, чтоб ты мог доставать деньги. Ну, до свиданья. Заходи поутру, мы переговорим, что и как начать.

Александр Федорыч пошёл домой.

– Послушай, не хочешь ли ты поужинать? – сказал Пётр Иваныч ему вслед.

– Да, дядюшка... я бы, пожалуй...

– У меня ничего нет.

Александр молчал. «Зачем же это обязательное предложение?» – думал он.

– Стола я дома не держу, а трактиры теперь заперты, – продолжал дядя. – Вот тебе и урок на первый случай – привыкай. У вас встают и ложатся по солнцу, едят, пьют, когда велит природа; холодно, так наденут себе шапку с наушниками, да и знать ничего не хотят; светло – так день, темно – так ночь. У тебя вон слипаются глаза, а я ещё за работу сяду: к концу месяца надо счёты свести. Дышите вы там круглый год свежим воздухом, а здесь и это удовольствие стоит денег – и всё так! совершенные антиподы! Здесь вот и не ужинают, особенно на свой счёт, и на мой тоже. Это тебе даже полезно: не станешь стонать и метаться по ночам, а крестить мне тебя некогда.

– К этому, дядюшка, легко привыкнуть...

– Хорошо, если так. А у вас всё ещё по-старому: можно прийти в гости ночью и сейчас ужин состряпают?

– Что ж, дядюшка, наденешь этой черты порицать нельзя. Добродетель русских...

– Полно! какая тут добродетель. От скуки там всякому мерзавцу рады: «Милости просим, кушай, сколько хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, помоги убить время да дай взглянуть на тебя – всё-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалеем это нам здесь ровно ничего не стоит...» Препротивная добродетель!

Так Александр лёг спать и старался разгадать, что за человек его дядя. Он припомнил весь разговор; многого не понял, другому не совсем верил.

«Нехорошо говорю! – думал он, – любовь и дружба не вечны? не смеётся ли надо мною дядюшка? Неужели здесь такой порядок? Что же Софье и нравилось во мне особенно, как не дар слова? А любовь её неужели не вечна?.. И неужели здесь в самом деле не ужинают?»

Он ещё долго ворочался в постели: голова, полная тревожных мыслей, и пустой желудок не давали ему спать.

Прошло недели две.

Пётр Иваныч день ото дня становился довольнее своим племянником.

– У него есть такт, – говорил он одному своему компаньону по заводу, – чего бы я никак не ожидал от деревенского мальчика. Он не навязывается, не ходит ко мне без зову; и когда заметит, что он лишний, тотчас уйдёт; и денег не просит: он малый покойный. Есть странности... лезет целоваться, говорит, как семинарист... ну, да от этого отвыкнет; и то хорошо, что он не сел мне на шею.

– Есть состояние? – спросил тот.

– Нет; каких-нибудь сто душонок.

– Что ж! если есть способности, так он пойдёт здесь... ведь и вы не с большего начали, а вот, слава богу...

– Нет! куда! ничего не сделает. Эта глупая восторженность никуда не годится, ах да ох! не привыкнет он к здешнему порядку: где ему сделать карьеру! напрасно приезжал... ну, это уж его дело.

Александр долгом считал любить дядю, но никак не мог привыкнуть к его характеру и образу мыслей.

«Дядюшка у меня, кажется, добрый человек, – писал он в одно утро к Поспелову, – очень умён, только человек весьма прозаический, вечно в делах, в расчётах... Дух его будто прикован к земле и никогда не возносится до чистого, изолированного от земных дрязгов созерцания явлений духовной природы человека. Небо у него неразрывно связано с землёй, и мы с ним, кажется, никогда совершенно не сольёмся душами. Едучи сюда, я думал, что он, как дядя, даст мне место в сердце, согреет меня в здешней холодной толпе горячими объятьями дружбы; а дружба, ты знаешь, *второе провиденье!* Но и он есть не что иное, как выражение этой толпы. Я думал делить с ним вместе время, не расставаться ни на минуту, но что встретил? – холодные советы, которые он называет дельными; но пусть они лучше будут недельны, но полны тёплого, сердечного участия. Он горд не горд, но враг всяких искренних излияний; мы не обедаем, не ужинаем вместе, никуда не ездим. Приехав, он никогда не расскажет, где был, что делал, и никогда также не говорит, куда едет и зачем, кто у него знакомые, нравится ему что, нет ли, как он проводит время. Никогда не сердит особенно, ни ласков, ни печален, ни весел. Сердцу его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Часто говоришь, и говоришь как вдохновенный пророк, почти как наш великий, незабвенный Иван Семеныч, когда он, помнишь, гремел с кафедры, а мы трепетали в восторге от его огненного зора и слова; а дядюшка? слушает, подняв брови, и смотрит престранно, или засмеётся как-то по-своему, таким смехом, который леденит у меня кровь, – и прощай, вдохновение! Я иногда вижу в нём как будто пушкинского демона⁵... Не верит он *любви*, и проч., говорит, что счастья нет, что его никто и не обещал, а что есть просто жизнь, разделяющаяся поровну на добро и зло, на удовольствие, удачу, здоровье, покой, потом на неудовольствие, неудачу, беспокойство, болезни и проч., что на всё на это надо смотреть просто, не забирать себе в голову бесполезных – каково? бесполезных! – вопросов о том, зачем мы созданы да к чему стремимся, – что это не наша забота и что от этого мы не видим, что у нас под носом, и не делаем своего дела... только и слышишь о деле! В нём не отличишь, находится ли он под влиянием какого-нибудь наслаждения или прозаического дела: и за счётами, и в театре, всё

⁵ Александр Адуев имеет здесь в виду стихотворение А. С. Пушкина «Демон» (1823).

одинаков; сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного: оно чуждо душе его; я думаю, он не читал даже Пушкина...»

Пётр Иваныч неожиданно явился в комнату племянника и застал его за письмом.

– Я пришёл посмотреть, как ты тут устроился, – сказал дядя, – и поговорить о деле.

Александр вскочил и проворно что-то прикрыл рукой.

– Спрячь, спрячь свой секрет, – сказал Пётр Иваныч, – я отвернусь. Ну, спрятал? А это что выпало? что это такое?

– Это, дядюшка, ничего... – начал было Александр, но смешался и замолчал.

– Кажется, волосы! Подлинно ничего! уж я видел одно, так покажи и то, что спрятал в руке.

Александр, точно уличённый школьник, невольно разжал руку и показал кольцо.

– Что это? откуда? – спросил Пётр Иваныч.

– Это, дядюшка, вещественные знаки... невещественных отношений...

– Что? что? дай-ка сюда эти знаки.

– Это залогов...

– Верно, из деревни привёз?

– От Софьи, дядюшка, на память... при прощанье...

– Так и есть. И это ты вёз за тысячу пятьсот вёрст?

Дядя покачал головой.

– Лучше бы ты привёз ещё мешок сушёной малины: ту, по крайней мере, в лавочку сбыли, а эти залогов...

Он рассматривал то волосы, то колечко; волосы понюхал, а колечко взвесил на руке. Потом взял бумажку со стола, завернул в неё оба знака, сжал всё это в компактный комок и – бац в окно.

– Дядюшка! – неистово закричал Александр, схватив его за руку, но поздно: комок перелетел через угол соседней крыши, упал в канал, на край барки с кирпичами, отскочил и прыгнул в воду.

Александр молча, с выражением горького упрёка, смотрел на дядю.

– Дядюшка! – повторил он.

– Что?

– Как назвать ваш поступок?

– Бросанием из окна в канал невещественных знаков и всякой дряни и пустяков, чего не нужно держать в комнате...

– Пустяков! это пустяки!

– А ты думал что? – половина твоего сердца... Я пришёл к нему за делом, а он вон чем занимается – сидит да думает над дрянью!

– Разве это мешает делу, дядюшка?

– Очень. Время проходит, а ты до сих пор мне ещё и не помянул о своих намерениях: хочешь ли ты служить, избрал ли другое занятие – ни слова! а всё оттого, что у тебя Софья да знаки на уме. Вот ты, кажется, к ней письмо пишешь? Так?

– Да... я начал было...

– А к матери писал?

– Нет ещё, я хотел завтра.

– Отчего же завтра? К матери завтра, а к Софье, которую через месяц надо забыть, сегодня...

– Софью? можно ли её забыть?

– Должно. Не брось я твоих залогов, так, пожалуй, чего доброго, ты помнил бы её лишней месяц. Я оказал тебе вдвойне услугу. Через несколько лет эти знаки напомнили бы тебе глупость, от которой бы ты краснел.

– Краснеть от такого чистого, святого воспоминания? Это значит не признавать поэзии...

– Какая поэзия в том, что глупо? поэзия, например, в письме твоей тётки! жёлтый цветок, озеро, какая-то тайна... как я стал читать – мне так стало нехорошо, что и сказать нельзя! чуть не покраснел, а уж я ли не отвык краснеть!

– Это ужасно, ужасно, дядюшка! стало быть, вы никогда не любили?

– Знаков терпеть не мог.

– Это какая-то деревянная жизнь! – сказал в сильном волнении Александр, – прозябание, а не жизнь! прозябать *без вдохновенья, без слёз, без жизни, без любви*⁶...

– И без волос! – прибавил дядя.

– Как вы, дядюшка, можете так холодно издеваться над тем, что есть лучшего на земле? ведь это преступление... Любовь... святые волнения!

– Знаю я эту святую любовь: в твои лета только увидят локон, башмак, подвязку, дотронутся до руки – так по всему телу и побежит святая, возвышенная любовь, а дай-ка волю, так и того... Твоя любовь, к сожалению, спереди; от этого никак не уйдёшь, а дело уйдёт от тебя, если не станешь им заниматься.

– Да разве любовь не дело?

– Нет: приятное развлечение, только не нужно слишком предаваться ему, а то выйдет вздор. От этого я и боюсь за тебя. – Дядя покачал головой. – Я почти нашёл тебе место: ты ведь хочешь служить? – сказал он.

– Ах, дядюшка, как я рад!

Александр бросился и поцеловал дядю в щёку.

– Нашёл-таки случай! – сказал дядя, вытирая щеку, – как это я не остерегся! Ну, так слушай же. Скажи, что ты знаешь, к чему чувствуешь себя способным.

– Я знаю богословие, гражданское, уголовное, естественное и народное права, дипломатию, политическую экономию, философию, эстетику, археологию...

– Постой, постой! а умеешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнее всего.

– Какой вопрос, дядюшка: умею ли писать по-русски! – сказал Александр и побежал к комоду, из которого начал вынимать разные бумаги, а дядя между тем взял со стола какое-то письмо и стал читать.

Александр подошёл с бумагами к столу и увидел, что дядя читает письмо. Бумаги у него выпали из рук.

– Что это вы читаете, дядюшка? – сказал он в испуге.

– А вот тут лежало письмо, к другу, должно быть. Извини, мне хотелось взглянуть, как ты пишешь.

– И вы прочитали его?

– Да, почти – вот только две строки осталось, – сейчас дочитаю; а что? ведь тут секретов нет, иначе бы оно не валялось так...

– Что же вы теперь думаете обо мне?

– Думаю, что ты порядочно пишешь, правильно, гладко...

– Стало быть, вы не прочли, что тут написано? – с живостью спросил Александр.

– Нет, кажется, всё, – сказал Пётр Иваныч, поглядев на обе страницы, – сначала описываешь Петербург, свои впечатления, а потом меня.

– Боже мой! – воскликнул Александр и закрыл руками лицо.

– Да что ты? что с тобой?

⁶ ...без вдохновенья, без слёз, без жизни, без любви – из стихотворения А. С. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье», 1825).

- И вы говорите это покойно? вы не сердитесь, не ненавидите меня?
 - Нет! из чего мне бесноваться?
 - Повторите, успокойте меня.
 - Нет, нет, нет.
 - Мне всё не верится; докажите, дядюшка...
 - Чем прикажешь?
 - Обнимите меня.
 - Извини, не могу.
 - Почему же?
 - Потому что в этом поступке разума, то есть смысла, нет, или, говоря словами твоего профессора, сознание не побуждает меня к этому; вот если б ты был женщина – так другое дело: там это делается без смысла, по другому побуждению.
 - Чувство, дядюшка, просится наружу, требует порыва, излияния...
 - У меня не просится и не требует, да если б и просилось, так я бы воздержался – и тебе тоже советую.
 - Зачем же?
 - А затем, чтоб после, когда рассмотришь поближе человека, которого обнял, не краснеть за свои объятия.
 - Разве не случается, дядюшка, что оттолкнёшь человека и после раскаешься?
 - Случается; оттого я никогда никого и не отталкиваю.
 - Вы и меня не оттолкнёте за мой поступок, не назовёте чудовищем?
 - У тебя кто напишет вздор, тот и чудовище. Этак бы их развелось несметное множество.
 - Но читать про себя такие горькие истины – и от кого же? от родного племянника!
 - Ты воображаешь, что написал истину?..
 - О дядюшка!.. конечно, я ошибся... я переправлю... простите...
 - Хочешь, я тебе продиктую истину?
 - Сделайте милость.
 - Садись и пиши.
- Александр вынул лист бумаги и взял перо, а Пётр Иваныч, глядя на прочтённое им письмо, диктовал:
- «Любезный друг». Написал?
 - Написал.
 - «Петербург и впечатлений своих описывать тебе не стану».
 - «Не стану», – сказал Александр, написав.
- «Петербург уже давно описан, а что не описано, то надо видеть самому; впечатления мои тебе ни на что не годятся. Нечего по-пустому тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому что это относится лично до меня».
- «Дядю», – сказал Александр.
 - Ну, вот ты пишешь, что я очень добр и умён – может быть, это и правда, может быть, и нет; возьмём лучше середину, пиши: «Дядя мой не глуп и не зол, мне желает добра...»
 - Дядюшка! я умею ценить и чувствовать... – сказал Александр и потянулся поцеловать его.
 - «Хотя и не вешается мне на шею», – продолжал диктовать Пётр Иваныч. Александр, не дотянувшись до него, поскорей сел на своё место. – А желает добра потому, что не имеет причины и побуждения желать зла и потому что его просила обо мне моя матушка, которая делала некогда для него добро. Он говорит, что меня не любит – и весьма основательно: в две недели нельзя полюбить, и я ещё не люблю его, хотя и уверяю в противном».
 - Как это можно? – сказал Александр.

– Пиши, пиши: «Но мы начинаем привыкать друг к другу. Он даже говорит, что можно и совсем обойтись без любви. Он не сидит со мной, обнявшись, с утра до вечера, потому что это вовсе не нужно, да ему и некогда». «Враг искренних излияний», – это можно оставить: это хорошо. Написал?

– Написал.

– Ну, что у тебя тут ещё? «Прозаический дух, демон...» Пиши.

Пока Александр писал, Пётр Иванович взял со стола какую-то бумагу, свернул её, достал огня и закурил сигару, а бумагу бросил и затоптал.

– «Дядя мой ни демон, ни ангел, а такой же человек, как и все, – диктовал он, – только не совсем похож на нас с тобой. Он думает и чувствует по-земному, полагает, что если мы живём на земле, так и не надо улетать с неё на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами, к которым мы призваны. Оттого он вникает во все земные дела и, между прочим, в жизнь, как она есть, а не как бы нам её хотелось. Верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и прескверное. Любви и дружбе тоже верит, только не думает, что они упали с неба в грязь, а полагает, что они созданы вместе с людьми и для людей, что их так и надобно понимать и вообще рассматривать вещи пристально, с их настоящей стороны, а не заноситься бог знает куда. Между честными людьми он допускает возможность приязни, которая, от частых сношений и привычки, обращается в дружбу. Но он полагает также, что в разлуке привычка теряет силу и люди забывают друг друга и что это вовсе не преступление. Поэтому он уверяет, что я тебя забуду, а ты меня. Это мне, да и тебе, вероятно, кажется дико, но он советует привыкнуть к этой мысли, отчего мы оба не будем в дураках. О любви он того же мнения, с небольшими оттенками: не верит в неизменную и вечную любовь, как не верит в домовых – и нам не советует верить. Впрочем, об этом он советует мне думать как можно меньше, а я тебе советую. Это, говорит он, придёт само собою – без зову; говорит, что жизнь не в одном только этом состоит, что для этого, как для всего прочего, бывает своё время, а целый век мечтать об одной любви – глупо. Те, которые ищут её и не могут ни минуты обойтись без неё, – живут сердцем, и ещё чем-то хуже, на счёт головы. Дядя любит заниматься делом, что советует и мне, а я тебе: мы принадлежим к обществу, говорит он, которое нуждается в нас; занимаясь, он не забывает и себя: дело доставляет деньги, а деньги комфорт, который он очень любит. Притом у него, может быть, есть намерения, вследствие которых, вероятно, не я буду его наследником. Дядя не всегда думает о службе да о заводе, он знает наизусть не одного Пушкина...»

– Вы, дядюшка? – сказал изумлённый Александр.

– Да, когда-нибудь увидишь. Пиши: «Он читает на двух языках всё, что выходит замечательного по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы – это его вкус, часто бывает в театре, но не суетится, не мечется, не ахает, не охает, думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своих впечатлений, потому, что до них никому нет надобности. Он также не говорит диким языком, что советует и мне, а я тебе. Прощай, пиши ко мне пореже и не теряй по-пустому времени. Друг твой такой-то. Ну, месяц и число».

– Как можно послать такое письмо? – сказал Александр, – «пиши пореже» – написать это человеку, который нарочно за сто шестьдесят вёрст приехал, чтобы сказать последнее прости! «Советую то, другое, третье...» он не глупее меня: он вышел вторым кандидатом.

– Нужды нет, ты всё-таки пошли: может быть, он поумнее станет: это наведёт его на разные новые мысли; хоть вы кончили курс, а школа ваша только что начинается.

– Я не могу решиться, дядюшка...

– Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела, но ты сам просил что-нибудь для тебя сделать; я стараюсь навести тебя на настоящую дорогу и облегчить первый шаг, а ты упрямишься; ну, как хочешь; я говорю только своё мнение, а принуждать не стану, я тебе не нянька.

– Извините, дядюшка: я готов повиноваться, – сказал Александр и тотчас запечатал письмо.

Запечатав одно, он стал искать другое, к Софье. Он поглядел на стол – нет, под столом – тоже нет, в ящике – не бывало.

– Ты чего-то ищешь? – сказал дядя.

– Я ищу другого письма... к Софье.

И дядя стал искать.

– Где же оно? – говорил Пётр Иванович, – я, право, не бросал его за окно...

– Дядюшка! что вы наделали? ведь вы им закурили сигару! – горестно сказал Александр и поднял обгорелые остатки письма.

– Не-уже-ли? – воскликнул дядя, – да как это я? и не заметил; смотри, пожалуй, сжёг такую драгоценность... А впрочем, знаешь что? оно даже, с одной стороны, хорошо...

– Ах, дядюшка, ей-богу, ни с какой стороны не хорошо... – заметил Александр в отчаянии.

– Право, хорошо: с нынешней почтой ты не успеешь написать к ней, а к будущей уж, верно, одумаешься, займёшься службой: тебе будет не до того, и, таким образом, сделаешь одной глупостью меньше.

– Что ж она подумает обо мне?

– А что хочет. Да, я думаю, это полезно и ей. Ведь ты не женишься на ней? Она подумает, что ты её забыл, забудет тебя сама и меньше будет краснеть перед будущим своим женихом, когда станет уверять его что никого, кроме его, не любила.

– Вы, дядюшка, удивительный человек! для вас не существует постоянства, нет святости обещаний... Жизнь так хороша, так полна прелести, неги: она как гладкое, прекрасное озеро...

– На котором растут жёлтые цветы, что ли? – перебил дядя.

– Как озеро, – продолжал Александр, – она полна чего-то таинственного, заманчивого, скрывающего в себе так много...

– Тины, любезный.

– Зачем же вы, дядюшка, черпаете тину, зачем так разрушаете и уничтожаете все радости, надежды, блага... смотрите с чёрной стороны?

– Я смотрю с настоящей – и тебе тоже советую: в дураках не будешь. С твоими понятиями жизнь хороша там, в провинции, где её не ведают, – там и не люди живут, а ангелы: вот Заезжалов – святой человек, тётушка твоя – возвышенная, чувствительная душа, Софья, я думаю, такая же дура, как и тётушка, да ещё...

– Оканчивайте, дядюшка! – сказал взбешённый Александр.

– Да ещё такие мечтатели, как ты: водят носом по ветру, не пахнет ли откуда-нибудь неизменной дружбой да любовью... В сотый раз скажу: напрасно приезжал!

– Станет она уверять жениха, что никого не любила! – говорил почти сам с собою Александр.

– А ты всё своё!
– Нет, я уверен, что она прямо, с благородной откровенностью отдаст ему мои письма и...

– И знаки, – сказал Пётр Иванович.

– Да, и залогов наших отношений... и скажет: «Вот, вот кто первый пробудил струны моего сердца; вот при чьём имени заиграли они впервые...»

У дяди начали подниматься брови и расширяться глаза. Александр замолчал.

– Что ж ты перестал играть на своих струнах? ну, милый, и подлинно глупа твоя Софья, если сделает такую штуку; надеюсь, у неё есть мать или кто-нибудь, кто бы мог остановить её?

– Вы, дядюшка, решаетесь назвать глупостью этот святейший порыв души, это благородное изливание сердца; как прикажете думать о вас?

– Как тебе заблагорассудится. Жениха своего она заставит подозревать бог знает что; пожалуй, ещё и свадьба разойдётся, а отчего? оттого, что вы там рвали вместе жёлтые цветы... Нет, так дела не делаются. Ну, так ты по-русски писать можешь, – завтра поедем в департамент: я уж говорил о тебе прежнему своему сослуживцу, начальнику отделения; он сказал, что есть вакансия; терять времени нечего... Это что за кипу ты вытащил?

– А это мои университетские записки. Вот, позвольте прочесть несколько страниц из лекций Ивана Семеныча, об искусстве в Греции.

Он уж начал было проворно переворачивать страницы.

– Ох, сделай милость, уволь! – сказал, сморщившись, Пётр Иванович. – А это что?

– А это мои диссертации. Я желал бы показать их своему начальнику; особенно тут есть один проект, который я обработал...

– А! один из тех проектов, которые тысячу лет уже как исполнены или которых нельзя и не нужно исполнять.

– Что вы, дядюшка! да этот проект был представлен одному значительному лицу, любителю просвещения; за это однажды он пригласил меня с ректором обедать. Вот начало другого проекта.

– Отобедай у меня дважды, да только не дописывай другого проекта.

– Почему же?

– Да так, ты теперь хорошего ничего не напишешь, а время уйдёт.

– Как! слушавши лекции?..

– Они пригодятся тебе со временем, а теперь смотри, читай, учись да делай, что заставят.

– Как же узнает начальник о моих способностях?

– Мигом узнает: он мастер узнавать. Да ты какое же место хотел бы занять?

– Я не знаю, дядюшка, какое бы...

– Есть места министров, – говорил Пётр Иванович, – товарищей их, директоров, вице-директоров, начальников отделений, столоначальников, их помощников, чиновников особых поручений, мало ли?

Александр задумался. Он растерялся и не знал, какое выбрать.

– Вот бы на первый раз место столоначальника хорошо, – сказал он.

– Да, хорошо! – повторил Пётр Иванович.

– Я бы присмотрелся к делу, дядюшка, а там месяца через два можно бы и в начальники отделения...

Дядя наострил уши.

– Конечно, конечно! – сказал он, – потом через три месяца в директоры, ну, а там через год и в министры: так, что ли?

Александр покраснел и молчал.

– Начальник отделения, вероятно, сказал вам, какая есть вакансия? – спросил он потом.

– Нет, – отвечал дядя, – он не говорил, да мы лучше положимся на него; сами-то, видишь, затрудняемся в выборе, а он уж знает, куда определить. Ты ему не говори о своём затруднении насчёт выбора, да и о проектах тоже ни слова: пожалуй, ещё обидится, что не доверяем ему, да пугнёт порядком: он крутенок. Я бы тебе не советовал говорить и о *вещественных знаках* здешним красавицам: они не поймут этого, где им понять! это для них слишком высоко: и я насилу вникнул, а они будут гримасничать.

Пока дядя говорил, Александр ворочал в руке какой-то свёрток.

– Что это ещё у тебя?

Александр с нетерпением ждал этого вопроса.

– Это... я давно хотел вам показать... стихи: вы однажды интересовались...

– Что-то не помню; кажется, я не интересовался...

– Вот видите, дядюшка, я думаю, что служба – занятие сухое, в котором не участвует душа, а душа жаждет выразиться, поделиться с ближними избытком чувств и мыслей, переполняющих её...

– Ну, так что же? – с нетерпением спросил дядя.

– Я чувствую призвание к творчеству...

– То есть ты хочешь заняться, кроме службы, ещё чем-нибудь – так, что ли, в переводе? Что ж, очень похвально: чем же? литературой?

– Да, дядюшка, я хотел просить вас, нет ли у вас случая поместить кое-что...

– Уверен ли ты, что у тебя есть талант? Без этого ведь ты будешь чернорабочий в искусстве – что ж хорошего? Талант – другое дело: можно работать; много хорошего сделаешь, и притом это капитал – стоит твоих ста душ.

– Вы и это измеряете деньгами?

– А чем же прикажешь? чем больше тебя читают, тем больше платят денег.

– А слава, слава? вот истинная награда певца...

– Она устала нянчиться с певцами: слишком много претендентов. Это прежде, бывало, слава, как женщина, ухаживала за всяким, а теперь, замечаешь ли? её как будто нет совсем, или она спряталась – да! Есть известность, а славы что-то не слышать, или она придумала другой способ проявляться: кто лучше пишет, тому больше денег, кто хуже – не прогневайся. Зато нынче порядочный писатель и живёт порядочно, не мёрзнет и не умирает с голода на чердаке, хоть за ним и не бегают по улицам и не указывают на него пальцами, как на шута; поняли, что поэт не небожитель, а человек: так же глядит, ходит, думает и делает глупости, как другие: чего ж тут смотреть?..

– Как другие – что вы, дядюшка! как это можно говорить! Поэт заклеимён особенною печатью: в нём таится присутствие высшей силы...

– Как иногда в других – и в математике, и в часовщике, и в нашем брате, заводчике. Ньютон, Гутенберг, Ватт так же были одарены высшей силой, как и Шекспир, Дант и прочие. Доведи-ка я каким-нибудь процессом нашу парголовскую глину до того, чтобы из неё выходил фарфор лучше саксонского или севрского, так ты думаешь, что тут не было бы присутствия высшей силы?

– Вы смешиваете искусство с ремеслом, дядюшка.

– Боже сохрани! Искусство само по себе, ремесло само по себе, а творчество может быть и в том и в другом, также точно, как и не быть. Если нет его, так ремесленник так и называется ремесленник, а не творец, и поэт без творчества уж не поэт, а сочинитель... Да разве вам об этом не читали в университете? Чему же вы там учились?..

Дяде уж самому стало досадно, что он пустился в такие объяснения о том, что считал общеизвестной истиной.

«Это похоже на искренние излияния», – подумал он.

– Покажи-ка, что там у тебя? – спросил он, – стихотворения?
Дядя взял свёрток и начал читать первую страницу.

Отколь порой тоска и горе
Внезапной тучей налетят
И, сердце с жизнью поссоря...

– Дай-ка, Александр, огня.
Он закурил сигару и продолжал:

В нём рой желаний заменят?
Зачем вдруг сумрачным ненастьем
Падёт на душу тяжкий сон,
Каким неведомым несчастьем
Её смутит внезапно он...

– Одно и то же в первых четырёх стихах сказано, и вышла вода, – заметил Пётр Иванович и читал:

Кто отгадает, отчего
Проступит хладными слезами
Вдруг побледневшее чело...

– Как же это так? Чело потом проступает, а слезами – не видывал.

И что тогда творится с нами?
Небес далёких тишина
В тот миг ужасна и страшна...

– Ужасна и страшна – одно и то же.

Гляжу на небо: там луна...

– Луна непременно: без неё никак нельзя! Если у тебя тут есть *мечта* и *дева* – ты погиб: я отступаю от тебя.

Гляжу на небо: там луна
Безмолвно плавает, сияя,
И мнится, в ней погребена,
От века тайна роковая.

– Недурно! Дай-ка ещё огня... сигара погасла. Где бишь, – да!

В эфире звёзды, притаясь,
Дрожат в изменчивом сияньи
И, будто дружно согласясь,
Хранят коварное молчанье.
Так в мире всё грозит бедой,
Всё зло нам дико предвещает,

Беспечно будто бы качает
Нас в нём обманчивый покой;
И грусти той назва...нья нет...

Дядя сильно зевнул и продолжал:

Она пройдёт, умчит и след,
Как перелётный ветер степей
С песков сдувает след зверей.

– Ну, уж «зверей»-то тут куда нехорошо! Зачем же тут черта? А! это было о грусти, а теперь о радости...

И он начал скороговоркой читать, почти про себя: ⁷

Зато случается порой
Иной в нас демон поселится,
Тогда восторг живой струей
Насильно в душу протеснится...
И затрепещет сладко грудь...
и т. д.

– Ни худо, ни хорошо! – сказал он, окончив. – Впрочем, другие начинали и хуже; попробуй, пиши, занимайся, если есть охота; может быть, и обнаружится талант; тогда другое дело.

Александр опечалился. Он ожидал совсем не такого отзыва. Его немного утешало то, что он считал дядю человеком холодным, почти без души.

– Вот перевод из Шиллера, – сказал он.

– Довольно; я вижу; а ты знаешь и языки?

– Я знаю по-французски, по-немецки и немного по-английски.

– Поздравляю тебя, давно бы ты сказал: из тебя можно многое сделать. Давеча наскзал мне про политическую экономию, философию, археологию, бог знает про что ещё, а о главном ни слова – скромность некстати. Я тебе тотчас найду и литературное занятие.

– Неужели, дядюшка? вот обяжете! – позвольте вас обнять.

– Погоди, вот как найду.

– Не покажете ли вы чего-нибудь из моих сочинений будущему моему начальнику, чтоб дать понятие?

– Нет, не нужно; если понадобится, ты и сам покажешь, а может быть, и не понадобится. Подари-ка ты мне свои проекты и сочинения!..

– Подарить? – извольте, дядюшка, – сказал Александр, которому польстило это требование дяди. – Не угодно ли, я вам сделаю оглавление всех статей в хронологическом порядке?

– Нет, не нужно... Спасибо за подарок. Евсей! отнеси эти бумаги к Василью.

– Зачем же к Василью? в ваш кабинет.

– Он просил у меня бумаги обклеить что-то...

– Как, дядюшка?.. – в ужасе спросил Александр и схватил кипу назад.

– Ведь ты подарил, а тебе что за дело, какое употребление я сделаю из твоего подарка?..

⁷ Здесь приведены несколько изменённые строки из юношеского романтического стихотворения И. А. Гончарова «Тоска и радость», которое было помещено в рукописном альманахе Майковых «Подснежник» за 1835 год (см. «Неизданные стихи» И. А. Гончарова, журнал «Звезда», № 5, 1938, стр. 243–246).

– Вы не щадите ничего... ничего!.. – с отчаянием стонал он, прижимая бумаги обеими руками к груди.

– Александр, послушайся меня, – сказал дядя, вырывая у него бумаги, – не будешь краснеть после и скажешь мне спасибо.

Александр выпустил бумаги из рук.

– На, отнеси, Евсей, – сказал Пётр Иваныч. – Ну, вот теперь у тебя в комнате чисто и хорошо: пустяков нет; от тебя будет зависеть наполнить её сором или чем-нибудь дельным. Поедем на завод прогуляться, рассеяться, подышать свежим воздухом и посмотреть, как работают.

Утром Пётр Иваныч привёз племянника в департамент, и пока сам он говорил с своим приятелем – начальником отделения, Александрзнакомился с этим новым для него миром. Он ещё мечтал всё о проектах и ломал себе голову над тем, какой государственный вопрос предложат ему решить, между тем всё стоял и смотрел.

«Точно завод моего дяди! – решил он наконец. – Как там один мастер возьмёт кусок массы, бросит её в машину, повернёт раз, два, три, – смотришь, выйдет конус, овал или полукруг; потом передаёт другому, тот сушит на огне, третий золотит, четвёртый расписывает, и выйдет чашка, или ваза, или блюдечко. И тут. придёт посторонний проситель, подаст, полу-согнувшись, с жалкой улыбкой, бумагу – мастер возьмёт, едва дотронется до неё пером и передаст другому, тот бросит её в массу тысяч других бумаг, – но она не затеряется: заклеимённая номером и числом, она пройдёт невредимо через двадцать рук, плодясь и производя себе подобных. Третий возьмёт её и полезет зачем-то в шкаф, заглянет или в книгу, или в другую бумагу, скажет несколько магических слов четвёртому – и тот пошёл скрипеть пером. Поскрипев, передаёт родительницу с новым чадом пятому – тот скрипит в свою очередь пером, и рождается ещё плод, пятый охорашивает его и сдаёт дальше, и так бумага идёт, идёт – никогда не пропадает: умрут её производители, а она всё существует целые веки. Когда, наконец, её покроет вековая пыль, и тогда ещё тревожат её и советуются с нею. И каждый день, каждый час, и сегодня и завтра, и целый век, бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей, – одни колёса да пружины...

Где же разум, оживляющий и двигающий эту фабрику бумаг? – думал Александр, – в книгах ли, в самих ли бумагах, или в головах этих людей?»

И какие лица увидел он тут! На улице как будто этакие и не встречаются и не выходят на божий свет: тут, кажется, они родились, выросли, срослись с своими местами, тут и умрут. Поглядел Адуев пристально на начальника отделения: точно Юпитер-громовержец; открывает рот – и бежит Меркурий с медной бляхой на груди; протянет руку с бумагой – и десять рук тянутся принять её.

– Иван Иваныч! – сказал он.

Иван Иваныч выскочил из-за стола, подбежал к Юпитеру и стал перед ним как лист перед травой. И Александр оробел, сам не зная отчего.

– Дайте табачку!

Тот с подобострастием поднёс обеими руками открытую табакерку.

– Да испытайте вот их! – сказал начальник, указывая на Адуева.

«Так вот кто будет меня испытывать! – думал Адуев, глядя на жёлтую фигуру Ивана Иваныча с обтёртыми локтями. – Неужели и этот человек решает государственные вопросы!»

– Хороша ли у вас рука? – спросил Иван Иваныч.

– Рука?

– Да-с; почерк. Вот потрудитесь переписать эту бумажку.

Александр удивился этому требованию, но исполнил его. Иван Иваныч сморщился, поглядев на его труд.

– Плохо пишут-с, – сказал он начальнику отделения. Тот поглядел.

– Да, нехорошо: набело не может писать. Ну, пусть пока переписывает отпуска, а там, как привыкнет немного, займите его исполнением бумаг; может быть, он годится: он учился в университете.

Векторе и Адуев стал одною из пружин машины. Он писал, писал, писал без конца и удивлялся уже, что по утрам можно делать что-нибудь другое; а когда вспоминая о своих проектах, краска бросалась ему в лицо.

«Дядюшка! – думал он, – в одном уж ты прав, немилосердно прав; неужели и во всём так? ужели я ошибался и в заветных, вдохновенных думах, и в тёплых верованиях в любовь, в дружбу... и в людей... и в самого себя?.. Что же жизнь?»

Он наклонялся над бумагой и сильнее скрипел пером, а у самого под ресницами сверкали слёзы.

– Тебе решительно улыбается фортуна, – говорил Пётр Иванович племяннику. – Я сначала целый год без жалованья служил, а ты вдруг поступил на старший оклад; ведь это семьсот пятьдесят рублей, а с наградой тысяча будет. Прекрасно на первый случай! Начальник отделения хвалит тебя; только говорит, что ты рассеян: то запятых не поставишь, то забудешь написать содержание бумаги. Пожалуйста, отвыкни: главное дело – обращай внимание на то, что у тебя перед глазами, а не заносись вон куда.

Дядя указал рукой кверху. С тех пор он сделался ещё ласковее к племяннику.

– Какой прекрасный человек мой столоначальник, дядюшка! – сказал однажды Александр.

– А ты почём знаешь?

– Мы сблизились с ним. Такая возвышенная душа, такое честное, благородное направление мыслей! и с помощником также: это, кажется, человек с твёрдой волей, с железным характером...

– Уж ты успел сблизиться с ними?

– Да, как же!..

– Не звал ли тебя столоначальник к себе по четвергам?

– Ах, очень: каждый четверг. Он, кажется, чувствует ко мне особенное влечение...

– А помощник просил денег взаймы?

– Да, дядюшка, безделицу... я ему дал двадцать пять рублей, что со мной было; он просил ещё пятьдесят.

– Уж дал! А! – сказал с досадой дядя, – тут отчасти я виноват, что не предупредил тебя; да я думал, что ты не до такой степени прост, чтоб через две недели знакомства давать деньги взаймы. Нечего делать, грех пополам, двенадцать с полтиной считай за мной.

– Как, дядюшка, ведь он отдаст?

– Держи карман! Я его знаю: за ним пропадают моих сто рублей с тех пор, как я там служил. Он у всех берёт. Теперь, если попросит, ты скажи ему, что я прошу его вспомнить мой должок – отстанет! а к столоначальнику не ходи.

– Отчего же, дядюшка?

– Он картёжник. Посадит тебя с двумя такими же молодцами, как сам, а те стакнутся и оставят тебя без гроша.

– Картёжник! – говорил в изумлении Александр, – возможно ли? Кажется, так склонен к искренним излияниям...

– А ты скажи ему, так, между прочим, в разговоре, что я у тебя взял все деньги на сохранение, так и увидишь, склонен ли он к искренним излияниям и позовёт ли когда-нибудь к себе в четверг.

Александр задумался. Дядя покачал головой.

– А ты думал, что там около тебя ангелы сидят! *Искренние излияния, особенное влечение!* Как, кажется, не подумать о том прежде: не мерзавцы ли какие-нибудь около? Напрасно ты приезжал! – сказал он, – право, напрасно!

Однажды Александр только что проснулся. Евсей подал ему большой пакет, с запиской от дяди.

«Наконец вот тебе и литературное занятие, – написано было в записке, – я вчера виделся с знакомым мне журналистом; он прислал тебе для опыта работу».

От радости у Александра дрожали руки, когда он распечатывал пакет. Там была немецкая рукопись.

«Что это – проза? – сказал он, – о чём же?»

И прочитал написанное наверху карандашом:

«*О назёме*, статья для отдела о сельском хозяйстве. Просят перевести поскорее».

Долго, задумчивый, сидел он над статьёю, потом медленно, со вздохом, принялся за перо и начал переводить. Через два дня статья была готова и отослана.

– Прекрасно, прекрасно! – сказал ему через несколько дней Пётр Иваныч. – Редактор предоволен, только находит, что стиль не довольно строг; ну, да с первого раза нельзя же всего требовать. Он хочет познакомиться с тобой. Ступай к нему завтра, часов в семь вечера: там он уж приготовил ещё статью.

– Опять о том же, дядюшка?

– Нет, о чём-то другом; он мне сказывал, да я забыл... ах, да: *о картофельной патоке*. Ты, Александр, должно быть, в сорочке родился. Я, наконец, начинаю надеяться, что из тебя что-нибудь и выйдет: скоро, может быть, не стану говорить тебе, зачем ты приезжал. Не прошло месяца, а уж со всех сторон так на тебя и льётся. Там тысяча рублей, да редактор обещал сто рублей в месяц за четыре печатных листа: это ведь две тысячи двести рублей! Нет, я не так начал! – сказал он, сдвинув немного брови. – Напиши же к матери, что ты пристроен и каким образом. Я тоже стану отвечать ей, напишу, что я, за её добро ко мне, сделал для тебя всё, что мог.

– Маменька будет вам... очень благодарна, дядюшка, и я тоже... – сказал Александр со вздохом, но уж не бросился обнимать дядю.

III

Прошло более двух лет. Кто бы узнал нашего провинциала в этом молодом человеке с изящными манерами, в щегольском костюме? Он очень изменился, возмужал. Мягкость линий юношеского лица, прозрачность и нежность кожи, пушок на подбородке – всё исчезло. Не стало и робкой застенчивости, и грациозной неловкости движений. Черты лица созрели и образовали физиономию, а физиономия обозначила характер. Лилии и розы исчезли, как будто под лёгким загаром. Пушок заменился небольшими бакенбардами. Лёгкая и шаткая поступь стала ровною и твёрдою походкою. В голосе прибавилось несколько басовых нот. Из подмалеванной картины вышел окончанный портрет. Юноша превратился в мужчину. В глазах блистали самоуверенность и отвага – не та отвага, что слышно за версту, что глядит на всё нагло и хватками и взглядами говорит встречному и поперечному: «Смотри, берегись, не задень, не наступи на ногу, а не то – понимаешь? с нами расправа коротка!» Нет, выражение той отваги, о которой говорю, не отталкивает, а влечёт к себе. Она узнаётся по стремлению к добру, к успеху, по желанию уничтожить заграждающие их препятствия... Прежняя восторженность на лице Александра умерялась лёгким оттенком задумчивости, первым признаком закравшейся в душу недоверчивости и, может быть, единственным следствием уроков дяди и беспощадного анализа, которому тот подвергал всё, что

проносилось в глазах и в сердце Александра. Александр усвоил наконец и такт, то есть умение обращаться с людьми. Он не бросался всем на шею, особенно с тех пор, как человек, склонный к *искренним излияниям*, несмотря на предостережение дяди, обыграл его два раза, а человек с твёрдым характером и железной волей перебрал у него немало денег взаймы. И другие люди и случаи много помогли этому. В одном месте он замечал, как исподтишка смеялись над его юношескою восторженностью и прозвали романтиком. В другом – едва обращали на него внимание, потому что от него никому не было *ni chaud, ni froid*⁸. Он не давал обедов, не держал экипажа, не играл в большую игру. Прежде у Александра болело и ныло сердце от этих стычек розовых его мечтаний с действительностью. Ему не приходило в голову спросить себя: «Да что же я сделал отличного, чем отличился от толпы? Где мои заслуги и за что должны замечать меня?» А между тем самолюбие его страдало.

⁸ Ни тепло, ни холодно (*фр.*)



Потом он стал понемногу допускать мысль, что в жизни, видно, не всё одни розы, а есть и шипы, которые иногда покалывают, но слегка только, а не так, как рассказывает дядюшка. И вот он начал учиться владеть собою, не так часто обнаруживал порывы и волнения и реже говорил диким языком, по крайней мере при посторонних.

Но всё ещё, к немалому горю Петра Ивановича, он далёко был от холодного разложения на простые начала всего, что волнует и потрясает душу человека. О приведении же в ясность всех тайн и загадок сердца он не хотел и слушать.

Пётр Иванович даст ему утром порядочный урок, Александр выслушает, смутится или глубоко задумается, а там поедет куда-нибудь на вечер и воротится сам не свой; дня три ходит как шальной – и дядина теория пойдёт вся к чёрту. Обаяние и чад бальной сферы, гром музыки, обнажённые плечи, огонь взоров, улыбка розовых уст не дадут ему уснуть целую ночь. Ему мерещится то талия, которой он касался руками, то томный, продолжительный взор, который бросили ему, уезжая, то горячее дыхание, от которого он таял в вальсе, или разговор вполголоса у окна, под рёв мазурки, когда взоры так искрились, язык говорил бог знает что. И сердце его билось; он с судорожным трепетом обнимал подушку и долго ворочался с боку на бок.

«Где же любовь? О, любви, любви жажду! – говорил он, – и скоро ли придёт она? когда настанут эти дивные минуты, эти сладостные страдания, трепет блаженства, слёзы...» – и проч.

На другой день он являлся к дяде.

– Какой, дядюшка, вчера был вечер у Зарайских! – говорил он, погружаясь в воспоминания о бале.

– Хорош?

– О, дивный!

– Порядочный ужин был?

– Я не ужинал.

– Как так? В твои лета не ужинать, когда можно! Да ты, я вижу, не шутя привыкаешь к здешнему порядку, даже уж слишком. Что ж, там всё прилично было? туалет, освещение...

– Да-с.

– И народ порядочный?

– О да! очень порядочный. Какие глаза, плечи!

– Плечи? у кого?

– Ведь вы про них спрашиваете?

– Про кого?

– Да про девиц.

– Нет, я не спрашивал про них; но всё равно – много было хорошеньких?

– О, очень... но жаль, что все они очень однообразны. Что одна скажет и сделает в таком-то случае, смотришь – то же повторит и другая, как будто затверженный урок. Была одна... не совсем похожа на других... а то не видно ни самостоятельности, ни характера. И движения, и взгляды – всё одинаково: не услышишь самородной мысли, ни проблеска чувства... всё покрыл и закрасил одинакий лоск. Ничто, кажется, не вызовет их наружу. И неужели это век будет заперто и не обнаружится ни перед кем? Ужели корсет вечно будет подавлять и вздох любви и вопль растерзанного сердца? неужели не даст простора чувству?..

– Перед мужем всё обнаружится, а то, если рассуждать по-твоему, вслух, так, пожалуй, многие и век в девках просидят. Есть дуры, что прежде времени обнаруживают то, что следовало бы прятать да подавлять, ну, зато после слёзы да слёзы: не расчёт!

– И тут расчёт, дядюшка?..

– Как и везде, мой милый; а кто не рассчитывает, того называют по-русски безрасчётным, дураком. Коротко и ясно.

– Удерживать в груди своей благородный порыв чувства!..

– О, я знаю, ты не станешь удерживать; ты готов на улице, в театре броситься на шею приятелю и зарыдать.

– Так что же, дядюшка? Сказали бы только, что это человек с сильными чувствами, что кто чувствует так, тот способен ко всему прекрасному и благородному и неспособен...

– Неспособен рассчитывать, то есть размышлять. Велика фигура – человек с сильными чувствами, с огромными страстями! Мало ли какие есть темпераменты? Восторги, экзальтация: тут человек всего менее похож на человека, и хвастаться нечем. Надо спросить, умеет ли он управлять чувствами; если умеет, то и человек...

– По-вашему, и чувством надо управлять, как паром, – заметил Александр, – то выпустить немного, то вдруг остановить, открыть клапан или закрыть...

– Да, этот клапан не даром природа дала человеку – это рассудок, а ты вот не всегда им пользуешься – жаль! а малый порядочный!

– Нет, дядюшка, грустно слушать вас! лучше познакомьте меня с этой приезжей барыней...

– С которой? с Любецкой? Она была вчера?

– Была, долго говорила со мной о вас, спрашивала о своём деле.

– Ах, да! кстати...

Дядя вынул из ящика бумагу.

– Отвези ей эту бумагу, скажи, что вчера только, и то насилу, выдали из палаты; объясни ей хорошенько дело: ведь ты слышал, как мы с чиновником говорили?

– Да, знаю, знаю; уж я объясню.

Александр обеими руками схватил бумагу и спрятал в карман. Пётр Иваныч посмотрел на него.

– Да чего ж тебе вздумалось познакомиться с нею? Она, кажется, неинтересна: с бородавкой у носа.

– С бородавкой? Не помню. Как это вы заметили, дядюшка?

– У носа да не заметить! Что ж тебе хочется к ней?

– Она такая добрая и почтенная...

– Как же это ты бородавки у носа не заметил, а уж узнал, что она добрая и почтенная? это странно. Да позволь... у ней ведь есть дочь – эта маленькая брюнетка. А! теперь не удивляюсь. Так вот отчего ты не заметил бородавки на носу!

Оба засмеялись.

– А я так удивляюсь, дядюшка, – сказал Александр, – что вы прежде заметили бородавку на носу, чем дочь.

– Поддай-ка назад бумагу. Ты там, пожалуй, выпустишь всё чувство и совсем забудешь закрыть клапан, наделаешь вздору и чёрт знает что объяснишь...

– Нет, дядюшка, не наделаю. И бумаги, как хотите, не подам, я сейчас же...

И он скрылся из комнаты.

А дело до сих пор шло да шло своим чередом. В службе заметили способности Александра и дали ему порядочное место. Иван Иваныч и ему с почтением начал подносить свою табакерку, предчувствуя, что он, подобно множеству других, послужив, как он говаривал, без году неделю, обгонит его, сядет ему на шею и махнёт в начальники отделения, а там, чего доброго, и в вице-директоры, как вон тот, или в директоры, как этот, а начинали свою служебную школу и тот и этот под его руководством. «А я работай за них!» – прибавил он. В редакции журнала Александр тоже сделался важным лицом. Он занимался и выбором, и переводом, и поправкою чужих статей, писал и сам разные теоретические взгляды о сельском хозяйстве. Денег у него, по его мнению, было больше, нежели сколько нужно, а по мнению дяди, ещё недовольно. Но не всегда он работал для денег. Он не отказывался от отрадной мысли о другом, высшем призвании. Юношеских его сил ставало на всё. Он крал время у сна, у службы и писал и стихи, и повести, и исторические очерки, и биографии. Дядя уж не обклеивал перегорожок его сочинениями, а читал их молча, потом посвистывал или гово-

рил: «Да! это лучше прежнего». Несколько статей явилось под чужим именем. Александр с радостным трепетом прислушивался к одобрителю суду друзей, которых у него было множество и на службе, и по кондитерским, и в частных домах. Исполнялась его лучшая, после любви, мечта. Будущность обещала ему много блеску, торжества; его, казалось, ожидал не совсем обыкновенный жребий, как вдруг...

Мелькнуло несколько месяцев. Александра стало почти нигде не видно, как будто он пропал. Дядю он посещал реже. Тот приписывал это его занятиям и не мешал ему. Но редактор журнала однажды, при встрече с Петром Ивановичем, жаловался, что Александр задерживает статьи. Дядя обещал, при первом случае, объясниться с племянником. Случай представился дня через три. Александр вбежал утром к дяде как сумасшедший. В его походке и движениях видна была радостная суетливость.

– Здравствуйте, дядюшка; ах, как я рад, что вас вижу! – сказал он и хотел обнять его, но тот успел уйти за стол.

– Здравствуй, Александр! Что это тебя давно не видно?

– Я... занят был, дядюшка: делал извлечения из немецких экономистов...

– А! что ж редактор лжёт? Он третьего дня сказал мне, что ты ничего не делаешь – прямой журналист! Я ж его, при встрече, отделаю...

– Нет, вы ему ничего не говорите, – перебил Александр, – я ему ещё не посылал своей работы, оттого он так и сказал...

– Да что с тобой? у тебя такое праздничное лицо! Ассессора, что ли, тебе дали или крест? Александр мотал головой.

– Ну, деньги?

– Нет.

– Так что ж ты таким полководцем смотришь? Если нет, так не мешай мне, а вот лучше сядь да напиши в Москву, к купцу Дубасову, о скорейшей высылке остальных денег. Прочти его письмо: где оно? вот.

Оба замолчали и начали писать.

– Кончил! – сказал Александр через несколько минут.

– Проворно: молодец! Покажи-ка. Что это? Ты ко мне пишешь. «Милостивый государь Пётр Иванович!» Его зовут Тимофей Никоныч. Как пятьсот двадцать рублей! пять тысяч двести! Что с тобой, Александр?

Пётр Иванович положил перо и поглядел на племянника. Тот покраснел.

– Вы ничего не замечаете в моём лице? – спросил он.

– Что-то глуповато... Пстой-ка... Ты влюблён? – сказал Пётр Иванович. Александр молчал.

– Так, что ли? угадал?

Александр, с торжественной улыбкой, с сияющим взором, кивнул утвердительно головой.

– Так и есть! Как это я сразу не догадался? Так вот отчего ты стал лениться, от этого и не видать тебя нигде. А Зарайские и Скачины пристают ко мне: где да где Александр Федорыч? он вон где – на седьмом небе!

Пётр Иванович стал опять писать.

– В Наденьку Любецкую! – сказал Александр.

– Я не спрашивал, – отвечал дядя, – в кого бы ни было – всё одна дурь. В какую Любецкую? это что с бородавкой?

– Э! дядюшка! – с досадой перебил Александр, – какая бородавка?

– У самого носа. Ты всё ещё не разглядел?

– Вы всё смешиваете. Это, кажется, у матери есть бородавка около носа.

– Ну, всё равно.

– Всё равно! Наденька! этот ангел! неужели вы не заметили её? Видеть однажды – и не заметить!

– Да что ж в ней особенного? Чего ж тут замечать? ведь бородавки, ты говоришь, у ней нет?..

– Далась вам эта бородавка! Не грешите, дядюшка: можно ли сказать, что она похожа на этих светских чопорных марионеток? Вы рассмотрите её лицо: какая тихая, глубокая дума покоится на нём! Это – не только чувствующая, это мыслящая девушка... глубокая натура...

Дядя принялся скрипеть пером по бумаге, а Александр продолжал:

– В разговоре у ней вы не услышите пошлых общих мест. Каким светлым умом блещут её суждения! что за огонь в чувствах! как глубоко понимает она жизнь! Вы своим взглядом отравляете её, а Наденька мирит меня с нею.

Александр замолчал на минуту и погрузился совсем в мечту о Наденьке. Потом начал опять:

– А когда она поднимет глаза, вы сейчас увидите, какому пылкому и нежному сердцу служат они проводником! а голос, голос! что за мелодия, что за нега в нём! Но когда этот голос прозвучит признанием... нет выше блаженства на земле! Дядюшка! как прекрасна жизнь! как я счастлив!

У него выступили слёзы; он бросился и с размаху обнял дядю.

– Александр! – вскричал, вскочив с места, Пётр Иванович, – закрой скорей свой клапан – весь пар выпустил! Ты сумасшедший! смотри, что ты наделал! в одну секунду ровно две глупости: перемял причёску и закапал письмо. Я думал, ты совсем отстал от своих привычек. Давно ты не был таким. Посмотри, посмотри, ради бога, на себя в зеркало: ну, может ли быть глупее физиономия? а неглуп!

– Ха, ха, ха! я счастлив, дядюшка!

– Это заметно!

– Не правда ли? в моём взоре, я знаю, блещет гордость. Я гляжу на толпу, как могут глядеть только герой, поэт и влюблённый, счастливый взаимною любовью...

– И как сумасшедшие смотрят или ещё хуже... Ну, что я теперь стану делать с письмом?

– Позвольте, я соскоблю – и незаметно будет, – сказал Александр. Он бросился к столу с тем же судорожным трепетом, начал скоблить, чистить, тереть и протёр на письме скважину. Стол от трения зашатался и толкнул этажерку. На этажерке стоял бюстик, из итальянского алебаstra, Софокла или Эсхила. Почтенный трагик от сотрясения сначала раза три качнулся на зыбком пьедестале взад и вперёд, потом свергнулся с этажерки и разбился вдребезги.

– Третья глупость, Александр! – сказал Пётр Иванович, поднимая черепки, – а это пятьдесят рублей стоит.

– Я заплачу, дядюшка, о! я заплачу, но не проклинайте моего порыва: он чист и благороден: я счастлив, счастлив! Боже! как хороша жизнь!

Дядя сморщился и покачал головой.

– Когда ты умнее будешь, Александр? Бог знает что говорит!

Он между тем с сокрушением смотрел на разбитый бюст.

– «Заплачу! – сказал он, – заплачу». Это будет четвёртая глупость. Тебе, я вижу, хочется рассказать о своём счастье. Ну, нечего делать. Если уж дяди обречены принимать участие во всяком вздоре своих племянников, так и быть, я даю тебе четверть часа: сиди смирно, не сделай какой-нибудь пятой глупости и рассказывай, а потом, после этой новой глупости, уходи: мне некогда. Ну... ты счастлив... так что же? рассказывай же поскорее.

– Если и так, дядюшка, то эти вещи не рассказываются, – с скромной улыбкой заметил Александр.

– Я было приготовил тебя, а ты, я вижу, всё-таки хочешь начать с обыкновенных пре-людий. Это значит, что рассказ продолжится целый час; мне некогда: почта не будет ждать. Пстой, уж я лучше сам расскажу.

– Вы? вот забавно!

– Ну, слушай же, очень забавно! Ты вчера виделся с своей красавицей наедине...

– А вы почему знаете? – с жаром начал Александр, – вы подсылаете смотреть за мной?

– Как же, я содержу для тебя шпионов на жалованье. С чего ты взял, что я так забочусь о тебе? мне что за дело?

Эти слова сопровождались ледяным взглядом.

– Так почему же вы знаете? – спросил Александр, подходя к дяде.

– Сиди, сиди, ради бога, и не подходи к столу: что-нибудь разобьёшь. У тебя на лице всё написано, я отсюда буду читать. Ну, у вас было объяснение, – сказал он.

Александр покраснел и молчал. Видно, что дядя опять попал.

– Вы оба, как водится, были очень глупы, – говорил Пётр Иванович.

Племянник сделал нетерпеливое движение.

– Дело началось с пустяков, когда вы остались одни, с какого-нибудь узора, – продолжал дядя, – ты спросил, кому она вышивает? она отвечала «маменьке или тётеньке» или что-нибудь подобное, а сами вы дрожали как в лихорадке...

– А вот нет, дядюшка, не угадали: не с узора; мы были в саду... – проговорился Александр и замолчал.

– Ну, с цветка, что ли, – сказал Пётр Иванович, – может быть, ещё с жёлтого, всё равно; тут что попадётся в глаза, лишь бы начать разговор; так-то слова с языка нейдут. Ты спросил, нравится ли ей цветок; она отвечала *да*; почему, дескать? «Так», – сказала она, и замолчали оба, потому что хотели сказать совсем другое, и разговор не вязался. Потом взглянули друг на друга, улыбнулись и покраснели.

– Ах, дядюшка, дядюшка, что вы!.. – говорил Александр в сильном смущении.

– Потом, – продолжал неумолимый дядя, – ты начал стороной говорить о том, что вот-де перед тобой открылся новый мир. Она вдруг взглянула на тебя, как будто слушает неожиданную новость; ты, я думаю, стал в тупик, растерялся, потом опять чуть внятно сказал, что только теперь ты узнал цену жизни, что и прежде ты видал её... как её? Марья, что ли?

– Наденька.

– Но видал как будто во сне, предчувствовал встречу с ней, что вас свела симпатия и что, дескать, теперь ты посветишь ей одной всё стихи и прозу... А руками-то, я думаю, как работал! верно, опрокинул или разбил что-нибудь.

– Дядюшка! вы подслушали нас! – вскричал вне себя Александр.

– Да, я там за кустом сидел. Мне ведь только и дела, что бегать за тобой да подслушивать всякий вздор.

– Почему же вы всё это знаете? – спросил с недоумением Александр.

– Мудрёно! с Адама и Евы одна и та же история у всех, с маленькими вариантами. Узнай характер действующих лиц, узнаешь и варианты. Это удивляет тебя, а ещё писатель! Вот теперь и будешь прыгать и скакать дня три, как помешанный, вешаться всем на шею – только, ради бога, не мне. Я тебе советовал бы запереться на это время в своей комнате, выпустить там весь этот пар и проделать все проделки с Евсеём, чтобы никто не видал. Потом немного одумаешься, будешь добиваться уж другого, поцелуя например...

– Поцелуй Наденьки! о, какая высокая, небесная награда! – почти заревел Александр.

– Небесная!

– Что же – материальная, земная, по-вашему?

– Без сомнения, действие электричества; влюблённые – всё равно что две лейденские банки: оба сильно заряжены; поцелуями электричество разрешается, и когда разрешится совсем – прости, любовь, следует охлаждение...

– Дядюшка...

– Да! а ты думал как?

– Какой взгляд! какие понятия!

– Да, я забыл: у тебя ещё будут фигурировать «вещественные знаки». Опять нанесёшь всякой дряни и будешь задумываться да разглядывать, а дело в сторону.

Александр вдруг схватился за карман.

– Что, уж есть? будешь делать всё то же, что люди делают с сотворения мира.

– Стало быть, то же, что и вы делали, дядюшка?

– Да, только поглупее.

– Поглупее! Не называете ли вы глупостью то, что я буду любить глубже, сильнее вас, не издеваться над чувством, не шутить и не играть им холодно, как вы... и не сдёргивать покрывала с священных тайн...

– Ты будешь любить, как и другие, ни глубже, ни сильнее; будешь также сдёргивать и покрывало с тайн... но только ты будешь верить в вечность и неизменность любви, да об одном этом и думать, а вот это-то и глупо: сам себе готовишь горя более, нежели сколько бы его должно быть.

– О, это ужасно, ужасно, что вы говорите, дядюшка! Сколько раз я давал себе слово таить перед вами то, что происходит в сердце.

– Зачем же не сдержал? Вот пришёл – помешал мне...

– Но ведь вы одни у меня, дядюшка, близкие: с кем же мне разделить этот избыток чувств? а вы без милосердия вонзаете свой анатомический нож в самые тайные изгибы моего сердца.

– Я это не для своего удовольствия делаю: ты сам просил моих советов. От скольких глупостей я остерег тебя!..

– Нет, дядюшка, пусть же я буду вечно глуп в ваших глазах, но я не могу существовать с такими понятиями о жизни, о людях. Это больно, грустно! тогда мне не надо жизни, я не хочу её при таких условиях – слышите ли? я не хочу.

– Слышу; да что ж мне делать? ведь не могу же я тебя лишить её.

– Да! – говорил Александр, – вопреки вашим предсказаниям я буду счастлив, буду любить вечно и однажды.

– Ох, нет! Я предчувствую, что ты ещё много кое-чего перебеёшь у меня. Но это бы всё ничего: любовь любовью; никто не мешает тебе; не нами заведено заниматься особенно прилежно любовью в твои лета, но, однако ж, не до такой степени, чтобы бросать дело; любовь любовью, а дело делом...

– Да я делаю извлечения из немецких...

– Полно, никаких ты извлечений не делаешь, предаёшься только *сладостной неге*, а редактор откажет тебе...

– Пусть его! я не нуждаюсь. Могу ли я думать теперь о презренной пользе, когда...

– *О презренной пользе!* презренная! Ты уж лучше построй в горах хижину, ешь хлеб с водой и пей:

Мне хижина убога
С тобою будет рай... —

но только как не станет у тебя «презренного металла», у меня не проси – не дам...

– Я, кажется, не часто беспокоил вас.

– До сих пор, слава богу, нет, а может случиться, если бросишь дело; любовь тоже требует денег: тут и лишнее щегольство и разные другие траты... Ох, эта мне любовь в двадцать лет! вот уж презренная, так презренная, никуда не годится!

– Какая же, дядюшка, годится? в сорок?

– Я не знаю, какова любовь в сорок лет, а в тридцать девять...

– Как ваша?

– Пожалуй, как моя.

– То есть никакая.

– Ты почему знаешь?

– Будто вы можете любить?

– Почему же нет? разве я не человек, или разве мне восемьдесят лет? Только если я люблю, то люблю разумно, помню себя, не бью и не опрокидываю ничего.

– Разумная любовь! хороша любовь, которая помнит себя! – насмешливо заметил Александр, – которая ни на минуту не забудется...

– Дикая, животная, – перебил Пётр Иваныч, – не помнит, а разумная должна помнить; в противном случае это не любовь...

– А что же?..

– Так, гнусность, как ты говоришь.

– Вы... любите! – говорил Александр, глядя недоверчиво на дядю, – ха, ха, ха!

Пётр Иваныч молча писал.

– Кого же, дядюшка? – спросил Александр.

– Тебе хочется знать?

– Хотелось бы.

– Свою невесту.

– Не... невесту! – едва выговорил Александр, вскочив с места и подходя к дяде.

– Не близко, не близко, Александр, закрой клапан! – заговорил Пётр Иваныч, увидя, какие большие глаза сделал племянник, и проворно придвинул к себе разные мелкие вещицы, бюстики, фигурки, часы и чернильницу.

– Стало быть, вы женитесь? – спросил Александр с тем же изумлением.

– Стало быть.

– И вы так покойны! пишете в Москву письма, разговариваете о посторонних предметах, ездите на завод и ещё так адски холодно рассуждаете о любви!

– Адски холодно – это ново! в аду, говорят, жарко. Да что ты на меня смотришь так дико?

– Вы – женитесь!

– Что ж тут удивительного? – спросил Пётр Иваныч, положив перо.

– Как что? женитесь – и ни слова мне!

– Извини, я забыл попросить у тебя позволения.

– Не просить позволения, дядюшка, а надо же мне знать. Родной дядя женится, а я ничего не знаю, мне и не сказали!..

– Вот ведь сказал.

– Сказали, потому что кстати пришлось.

– Я стараюсь, по возможности, всё делать кстати.

– Нет, чтоб первому мне сообщить вашу радость: вы знаете, как я люблю вас и как разделю...

– Я вообще избегаю дележа, а в женитьбе и подавно.

– Знаете что, дядюшка? – сказал Александр с живостью, – может быть... нет, не могу таиться перед вами... Я не таков, всё выскажу...

– Ох, Александр, некогда мне; если новая история, так нельзя ли завтра?

– Я хочу только сказать, что, может быть... и я близок к тому же счастью...

– Что, – спросил Пётр Иванович, слегка наострив уши, – это что-то любопытно...

– А! любопытно? так и я помучаю вас: не скажу.

Пётр Иванович равнодушно взял пакет, вложил туда письмо и начал запечатывать.

– И я, может быть, женюсь! – сказал Александр на ухо дяде.

Пётр Иванович не допечатал письма и поглядел на него очень серьёзно.

– Закрой клапан, Александр! – сказал он.

– Шутите, шутите, дядюшка, а я говорю не шутя. Попрошу у маменьки позволения.

– Тебе жениться!

– А что же?

– В твои лета!

– Мне двадцать три года.

– Пора! В эти лета женятся только мужики, когда им нужна работница в доме.

– Но если я влюблён в девушку и есть возможность жениться, так, по-вашему, не нужно...

– Я тебе никак не советую жениться на женщине, в которую ты влюблён.

– Как, дядюшка? это новое; я никогда не слыхал.

– Мало ли ты чего не слыхал!

– Я думал всё, что супружества без любви не должно быть.

– Супружество супружеством, а любовь любовью, – сказал Пётр Иванович.

– Как же жениться... по расчёту?

– С расчётом, а не по расчёту. Только расчёт этот должен состоять не в одних деньгах.

Мужчина так создан, чтоб жить в обществе женщины; ты и станешь рассчитывать, как бы жениться, станешь искать, выбирать между женщинами...

– Искать, выбирать! – с изумлением сказал Александр.

– Да, выбирать. Поэтому-то и не советую жениться, когда влюбишься. Ведь любовь пройдёт – это уж пошлая истина.

– Это самая грубая ложь и клевета.

– Ну, теперь тебя не убедишь; увидишь сам со временем, а теперь запомни мои слова только: любовь пройдёт, повторяю я, и тогда женщина, которая казалась тебе идеалом совершенства, может быть, покажется очень несовершенною, а делать будет нечего. Любовь заслонит от тебя недостаток качеств, нужных для жены. Тогда как, выбирая, ты хладнокровно рассудишь, имеет ли такая-то или такая женщина качества, какие хочешь видеть в жене: вот в чём главный расчёт. И если отыщешь такую женщину, она непременно должна нравиться тебе постоянно, потому что отвечает твоим желаниям. Из этого возникнут между ею и тобою близкие отношения, которые потом образуют...

– Любовь? – спросил Александр.

– Да... привычку.

– Жениться без увлечения, без поэзии любви, без страсти, рассуждать, как и зачем!!

– А ты женился бы, не рассуждая и не спрашивая себя: зачем? так точно, как, поехавши сюда, тоже не спросил себя: зачем?

– Так вы женитесь по расчёту? – спросил Александр.

– С расчётом, – заметил Пётр Иванович.

– Это всё равно.

– Нет, по расчёту значит жениться для денег – это низко; но жениться без расчёта – это глупо!.. а тебе теперь вовсе не следует жениться.

– Когда же жениться? Когда состареюсь? Зачем я буду следовать нелепым примерам.

– В том числе и моему? спасибо!

– Я не про вас говорю, дядюшка, а про всех вообще. Услышишь о свадьбе, пойдёшь посмотреть – и что же? видишь прекрасное, нежное существо, почти ребёнка, которое ожидало только волшебного прикосновения любви, чтобы развернуться в пышный цветок, и вдруг её отрывают от кукол, от няни, от детских игр, от танцев, и слава богу, если только от этого, а часто не заглянут в её сердце, которое, может быть, не принадлежит уже ей. Её одевают в газ, в блонды, убирают цветами и, несмотря на слёзы, на бледность, влекут, как жертву, и ставят – подле кого же? подле пожилого человека, по большей части некрасивого, который уж утратил блеск молодости. Он или бросает на неё взоры оскорбительных желаний, или холодно осматривает её с головы до ног, а сам думает, кажется: «Хороша ты, да, чай, с блажью в голове: любовь да розы, – я уйму эту дурь, это – глупости! у меня полно вздыхать да мечтать, а веди себя пристойно», или ещё хуже – мечтает об её имени. Самому молодому мало-мало тридцать лет. Он часто с лысиною, правда с крестом, или иногда со звездой. И говорят ей: «Вот кому обречены все сокровища твоей юности, ему и первое бие-ние сердца, и признание, и взгляды, и речи, и девственные ласки, и вся жизнь». А кругом толпой теснятся те, кто, по молодости и красоте, под пару ей и кому бы надо было стать рядом с невестой. Они пожирают взглядами бедную жертву и как будто говорят: «Вот, когда мы истощим свежесть, здоровье, оплешивеем, и мы женимся, и нам достанется такой же пышный цветок...» Ужасно!..

– Дико, нехорошо, Александр! пишешь ты уж два года, – сказал Пётр Иванович, – и о назёме, и о картофеле, и о других серьёзных предметах, где стиль строгий, сжатый, а всё ещё дико говоришь. Ради бога, не предавайся экстазу, или, по крайней мере, как эта дурь найдёт на тебя, так уж молчи, дай ей пройти, путного ничего не скажешь и не сделаешь: выйдет непременно нелепость.

– Как, дядюшка, а разве не в экстазе рождается мысль поэта?

– Я не знаю, как она рождается, а знаю, что выходит совсем готовая из головы, то есть когда обрабатывается размышлением: тогда только она и хороша. Ну, а по-твоему, – начал, помолчав, Пётр Иванович, – за кого же бы выдавать эти прекрасные существа?

– За тех, кого они любят, кто ещё не утратил блеска юношеской красоты, в ком и в голове и в сердце – всюду заметно присутствие жизни, в глазах не угас ещё блеск, на щеках не остыл румянец, не пропала свежесть – признаки здоровья; кто бы не истощённой рукой повёл по пути жизни прекрасную подругу, а принёс бы ей в дар сердце, полное любви к ней, способное понять и разделить её чувства, когда права природы...

– Довольно! то есть за таких молодцов, как ты. Если б мы жили *среди полей и лесов дремучих* – так, а то жени вот такового молодца, как ты, – много будет проку! в первый год с ума сойдёт, а там и пойдёт заглядывать за кулисы, или даст в соперницы жене её же горничную, потому что права-то природы, о которых ты толкуешь, требуют перемены, новостей – славный порядок! а там и жена, заметив мужнины проказы, полюбит вдруг каски, наряды да маскарады и сделает тебе того... а без состояния так ещё хуже! есть, говорит, нечего!

Пётр Иванович сделал кислую мину.

– «Я, говорит, женат, – продолжал он, – у меня, говорит, уж трое детей, помогите, не могу прокормиться, я беден...» беден! какая мерзость! нет, я надеюсь, что ты не попадёшь ни в ту, ни в другую категорию.

– Я попаду в категорию счастливых мужей, дядюшка, а Наденька – счастливых жён. Не хочу жениться, как женится большая часть: наладили одну песню: «Молодость прошла, одиночество наскучило, так надо жениться!» Я не таков!

– Бредишь, милый.

– Да почему вы знаете?

– Потому что ты такой же человек, как другие, а других я давно знаю. Ну, скажи-ка ты, зачем женишься?

– Как зачем! Наденька – жена моя! – воскликнул Александр, закрыв лицо руками.

– Ну что? видишь – и сам не знаешь.

– У! дух замирает от одной мысли. Вы не знаете, как я люблю её, дядюшка! я люблю, как никогда никто не любил: всеми силами души – ей всё...

– Лучше бы ты, Александр, выбрал или, уж так и быть, обнял меня, чем повторять эту глупейшую фразу! Как это у тебя язык поворотился? «как никогда никто не любил!»

Пётр Иваныч пожал плечами.

– Что ж, разве это не может быть?

– Впрочем, точно, глядя на твою любовь, я думаю, что это даже возможно: глупее любить нельзя!

– Но она говорит, что надо ждать год, что мы молоды, должны испытать себя... целый год... и тогда...

– Год! а! давно бы ты сказал! – перебил Пётр Иваныч, – это она предложила? Какая же она умница! Сколько ей лет?

– Восемнадцать.

– А тебе – двадцать три: ну, брат, она в двадцать три раза умнее тебя. Она, как я вижу, понимает дело: с тобою она пошалит, пококетничает, время проведёт весело, а там... есть между этими девчонками преумные! Ну, так ты не женишься. Я думал, ты хочешь это как-нибудь поскорее повернуть, да тайком. В твои лета эти глупости так проворно делаются, что не успеешь и помешать; а то через год! до тех пор она ещё надует тебя...

– Она – надует, кокетничает! девчонка! она, Наденька! фи, дядюшка! С кем вы жили всю жизнь, с кем имели дела, кого любили, если у вас такие чёрные подозрения?..

– Жил с людьми, любил женщину.

– Она обманет! Этот ангел, эта олицетворённая искренность, женщина, какую, кажется, бог впервые создал во всей чистоте и блеске...

– А всё-таки женщина, и, вероятно, обманет.

– Вы после этого скажете, что и я надую?

– Со временем – да, и ты.

– Я! про тех, кого вы не знаете, вы можете заключать, что угодно; но меня – не грех ли вам подозревать в такой гнусности? Кто же я в ваших глазах?

– Человек.

– Не все одинаковы. Знайте же, что я, не шутя, искренно дал ей обещание любить всю жизнь; я готов подтвердить это клятвой...

– Знаю, знаю! Порядочный человек не сомневается в искренности клятвы, когда даёт её женщине, а потом изменит или охладет, и сам не знает как. Это делается не с намерением, и туг никакой гнусности нет, некого винить: природа вечно любить не позволила. И верующие в вечную и неизменную любовь делают то же самое, что и неверующие, только не замечают или не хотят сознаться; мы, дескать, выше этого, не люди, а ангелы – глупость!

– Как же есть любовники-супруги, которые вечно любят друг друга и всю жизнь живут?..

– Вечно! кто две недели любит, того называют ветреником, а два, три года – так уж и вечно! Разбери-ка, как любовь создана, и сам увидишь, что она не вечна! Живость, пылкость и лихорадочность этого чувства не дают ему быть продолжительным. Любовники-супруги живут всю жизнь вместе – правда! да разве любят всю жизнь друг друга? будто их всегда связывает первоначальная любовь? будто они ежеминутно ищут друг друга, глядят и не наглядятся? Куда под конец денутся мелочные угождения, беспрестанная внимательность, жажда быть вместе, слёзы, восторги – все эти вздоры? Холодность и неповоротливость мужей вошла в пословицу. «Их любовь обращается в дружбу!» – говорят все важно: так вот уж и не любовь! Дружбу! А что это за дружба? Мужа с женой связывают общие интересы,

обстоятельства, одна судьба, – вот и живут вместе; а нет этого, так и расходятся, любят других, – иной прежде, другой после: это называется изменой!.. А живучи вместе, живут потом привычкой, которая, скажу тебе на ухо, сильнее всякой любви: недаром называют её второй натурой; иначе бы люди не перестали терзаться всю жизнь в разлуке или по смерти любимого предмета, а ведь утешаются. А то наладили: вечно, вечно!.. не разберут, да и кричат.

– Как же вы, дядюшка, не опасаетесь за себя? Стало быть, и ваша невеста... извините... надует вас?..

– Не думаю.

– Какое самолюбие!

– Это не самолюбие, а расчёт.

– Опять расчёт!

– Ну, размышление, если хочешь.

– А если она влюбится в кого-нибудь?

– До этого не надо допускать; а если б и случился такой грех, так можно поискуснее расхолодить.

– Будто это можно? разве в вашей власти...

– Весьма.

– Этак бы делали все обманутые мужья, – сказал Александр, – если б был способ...

– Не все мужья одинаковы, мой милый: одни очень равнодушны к своим жёнам, не обращают внимания на то, что делается вокруг них, и не хотят заметить; другие из самолюбия и хотели бы, да плохи: не умеют взяться за дело.

– Как же вы сделаете?

– Это мой секрет; тебе не втолкуешь: ты в горячке.

– Я счастлив теперь и благодарю бога; а о том, что будет впереди, и знать не хочу.

– Первая половина твоей фразы так умна, что хоть бы не влюблённому её сказать: она показывает умение пользоваться настоящим; а вторая, извини, никуда не годится. «Не хочу знать, что будет впереди», то есть не хочу думать о том, что было вчера и что есть сегодня; не стану ни соображать, ни размышлять, не приготовлюсь к тому, не остерегусь этого, так, куда ветер подует! Помилуй, на что это похоже?

– А по-вашему, как же, дядюшка? Настанет миг блаженства, надо взять увеличительное стекло, да и рассматривать...

– Нет, уменьшительное, чтоб с радости не одуреть вдруг, не вешаться всем на шею.

– Или придёт минута грусти, – продолжал Александр, – так её рассматривать в ваше уменьшительное стекло?

– Нет, грусть в увеличительное: легче перенести, когда вообразишь неприятность вдвое больше, нежели она есть.

– Зачем же, – продолжал Александр с досадой, – я буду убивать вначале всякую радость холодным размышлением, не упившись ею, думать: вот она изменит, пройдёт? зачем буду терзаться заранее горем, когда оно не настало?

– А зато, когда настанет, – перебил дядя, – так подумаешь – и горе пройдёт, как проходило тогда-то и тогда-то, и со мной, и с тем, и с другим. Надеюсь, это не дурно и стоит обратить на это внимание; тогда и терзаться не станешь, когда разглядишь переменчивость всех шансов в жизни; будешь хладнокровен и покоен, сколько может быть покоен человек.

– Так вот где тайна вашего спокойствия! – задумчиво сказал Александр.

Пётр Иваныч молчал и писал.

– Но что ж за жизнь! – начал Александр, – не забытья, а всё думать, думать... нет, я чувствую, что это не так! Я хочу жить без вашего холодного анализа, не думая о том, ожидает ли меня впереди беда, опасность, или нет – всё равно!.. Зачем я буду думать заранее и отравлять...

– Ведь я говорю зачем, а он всё своё! не заставь меня сделать на твой счёт какого-нибудь обидного сравнения. Затем, что когда предвидишь опасность, препятствие, беду, так легче бороться с ней или перенести её: ни с ума не сойдёшь, ни умрёшь; а когда придёт радость, так не будешь скакать и опрокидывать бюстов – ясно ли? Ему говорят: вот начало, смотри же, соображай по этому конец, а он закрывает глаза, мотает головой, как при виде пугала какого-нибудь, и живёт по-детски. По-твоему, живи день за днём, как живётся, сиди у порога своей хижины, измеряй жизнь обедами, танцами, любовью да неизменной дружбой. Всё хотят золотого века! Уж я сказал тебе, что с твоими идеями хорошо сидеть в деревне, с бабой да полдюжиной ребят, а здесь надо дело делать; для этого беспрестанно надо думать и помнить, что делал вчера, что делаешь сегодня, чтобы знать, что нужно делать завтра, то есть жить с непрерывной проверкой себя и своих занятий. С этим дойдём до чего-нибудь дельного; а так... Да что с тобою толковать: ты теперь в бреду. Ай! скоро час. Ни слова больше, Александр; уходи... и слушать не стану; завтра пообедай у меня, кое-кто будет.

– Не друзья ли ваши?

– Да... Конев, Смирнов, Фёдоров, – ты их знаешь, и ещё кое-кто...

– Конев, Смирнов, Фёдоров! да это те самые люди, с которыми вы имеете дела.

– Ну да; всё нужные люди.

– Так это у вас друзья? В самом деле не видывал, чтоб вы кого-нибудь принимали с особенною горячностью.

– Я уж тебе сказывал, что друзьями я называю тех, с кем чаще вижусь, которые доставляют мне или пользу или удовольствие. Помилуй! что ж даром-то кормить?

– А я думал, вы прощаетесь перед свадьбой с истинными друзьями, которых душевно любите, с которыми за чашей помянете в последний раз весёлую юность и, может быть, при разлуке крепко прижмёте их к сердцу.

– Ну, в твоих пяти словах всё есть, чего в жизни не бывает или не должно быть. С каким восторгом твоя тётка бросилась бы тебе на шею! В самом деле, тут и *истинные друзья*, тогда как есть просто друзья, и *чаша*, тогда как пьют из бокалов или стаканов, и объятия *при разлуке*, когда нет разлуки. Ох, Александр!

– И вам не жаль расставаться или, по крайней мере, реже видеться с этими друзьями? – сказал Александр.

– Нет! я никогда не сблизился ни с кем до такой степени, чтоб жалеть, и тебе то же советую.

– Но, может быть, они не таковы: им, может быть, жаль потерять в вас доброго товарища, собеседника?

– Это уж не моё, а их дело. Я тоже не раз терял таких товарищей, да вот не умер от того. Так ты будешь завтра?

– Завтра, дядюшка, я...

– Что?

– Отозван на дачу.

– Верно, к Любецким?

– Да.

– Так! Ну, как хочешь. Помни о деле, Александр: я скажу редактору, чем ты занимаешься...

– Ах, дядюшка, как можно! Я непременно dokonчу извлечения из немецких экономистов...

– Да ты прежде начни их. Смотри же помни, *презренного металла* не проси, как скоро совсем предашься *сладостной неге*.

IV

Жизнь Александра разделялась на две половины. Утро поглощала служба. Он рылся в запылённых делах, соображал вовсе не касавшиеся до него обстоятельства, считал на бумаге миллионами не принадлежавшие ему деньги. Но порой голова отказывалась думать за других, перо выпадало из рук, и им овладевала та *сладостная нега*, на которую сердился Пётр Иваныч.

Тогда Александр опрокидывался на спинку стула и уносился мысленно в место злочно, в место покойно, где нет ни бумаг, ни чернил, ни странных лиц, ни вицмундиров, где царствуют спокойствие, нега и прохлада, где в изящно убранной зале благоухают цветы, раздаются звуки фортепиано, в клетке прыгает попугай, а в саду качают ветвями берёзы и кусты сирени. И царицей всего этого – она...

Александр утром, сидя в департаменте, невидимо присутствовал на одном из островов, на даче Любецких, а вечером присутствовал там видимо, всей своей особой. Бросим нескромный взгляд на его блаженство.

Был жаркий день, один из редких дней в Петербурге: солнце животворило поля, но морило петербургские улицы, накаливая лучами гранит, а лучи, отскакивая от камней, пропекали людей. Люди ходили медленно, повесив головы, собаки – высунув языки. Город походил на один из тех сказочных городов, где всё, по мановению волшебника, вдруг окаменело. Экипажи не гремели по камням; маркизы, как опущенные веки у глаз, прикрывали окна; торцовая мостовая лоснилась, как паркет; по тротуарам горячо было ступать. Везде было скучно, сонно.

Пешеход, отирая пот с лица, искал тени. Ямская карета, с шестью пассажирами, медленно тащилась за город, едва подымая пыль за собою. В четыре часа чиновники вышли из должности и тихо побрели по домам.

Александр выбежал, как будто в доме обрушился потолок, посмотрел на часы – поздно: к обеду не поспеет. Он бросился к ресторатору.

– Что у вас есть? скорей!

– Суп *julienne* и *a la reine*; соус *a la provencale*, *a la maitre d'hotel*⁹; жаркое индейка, дичь, пирожное суфле.

– Ну, суп *a la provencale*, соус *julienne* и жаркое суфле, только поскорее!

Слуга посмотрел на него.

– Ну, что же? – сказал Александр с нетерпением.

Тот бросился вон и подал, что ему вздумалось. Адуев остался очень доволен. Он не дожидался четвёртого блюда и побежал на набережную Невы. Там ожидала его лодка и два гребца.

Через час завидел он обетованный уголок, встал в лодке и устремил взоры вдаль. Сначала глаза его отуманились страхом и беспокойством, которое перешло в сомнение. Потом вдруг лицо озарилось светом радости, как солнечным блеском. Он отличил у решётки сада знакомое платье; вот там его узнали, махнули платком. Его ждут, может быть, давно. У него подошвы как будто загорелись от нетерпения.

«Ах! если б можно было ходить пешком по воде! – думал Александр, – изобретают всякий вздор, а вот этого не изобретут!»

Гребцы машут вёслами медленно, мерно, как машина. Пот градом льёт по загорелым лицам; им и нужды нет, что у Александра сердце заметалось в груди, что, не спуская глаз с

⁹ Названия обеденных блюд (*фр.*).

одной точки, он уж два раза в забытьи заносил через край лодки то одну, то другую ногу, а они ничего: гребут себе с тою же флегмой да по временам оттирают рукавом лицо.

– Живее! – сказал он, – полтинник на водку.

Как они принялись работать, как стали привскакивать на своих местах! куда девалась усталость? откуда взялась сила? Вёсла так и затрепетали по воде. Лодка – что скользнёт, то саженой трёх как не бывало. Махнули раз десяток – корма уже описала дугу, лодка грациозно подъехала и наклонилась у самого берега. Александр и Наденька издали улыбались и не сводили друг с друга глаз. Адуев ступил одной ногой в воду вместо берега. Наденька засмеялась.

– Полегче, барин, погодите-ка, вот я руку подам, – промолвил один гребец, когда Александр был уже на берегу.

– Ждите меня здесь, – сказал им Адуев и побежал к Наденьке.

Она нежно улыбалась издали Александру. С каждым движением лодки к берегу грудь её поднималась и опускалась сильнее.

– Надежда Александровна!.. – сказал Адуев, едва переводя дух от радости.

– Александр Федорыч!.. – отвечала она.

Они бросились невольно друг к другу, но остановились и глядели друг на друга с улыбкой, влажными глазами и не могли ничего сказать. Так прошло несколько минут.

Нельзя винить Петра Ивановича, что он не заметил Наденьки с первого раза. Она была не красавица и не приковывала к себе мгновенно внимания.

Но если кто пристально вглядывался в её черты, тот долго не сводил с неё глаз. Её физиономия редко оставалась две минуты покойною. Мысли и разнородные ощущения до крайности впечатлительной и раздражительной души её беспрестанно сменялись одни другими, и оттенки этих ощущений сливались в удивительной игре, придавая лицу её ежеминутно новое и неожиданное выражение. Глаза, например, вдруг бросят будто молнию, обожгут и мгновенно спрячутся под длинными ресницами; лицо делается безжизненно и неподвижно – и перед вами точно мраморная статуя. Ожидаешь вслед за тем опять такого же пронзительного луча – отнюдь нет! веки подымутся тихо, медленно – вас озарит кроткое сияние взоров как будто медленно выплывшей из-за облаков луны. Сердце непременно отзовется лёгким биением на такой взгляд. В движениях то же самое. В них много было грации, но это не грация Сильфиды. В этой грации много было дикого, порывистого, что даёт природа всем, но что потом искусство отнимает до последнего следа, вместо того, чтобы смягчить. Эти-то следы часто проявлялись в движениях Наденьки. Она иногда сидит в живописной позе, но вдруг, бог знает вследствие какого внутреннего движения, эта картинная поза нарушится вовсе неожиданным и опять обворожительным жестом. В разговорах те же неожиданные обороты: то верное суждение, то мечтательность, резкий приговор, потом ребяческая выходка или тонкое притворство. Всё показывало в ней ум пылкий, сердце своеправное и непостоянное. И не Александр сошёл бы с ума от неё; один только Пётр Иванович уцелеет: да много ли таких?

– Вы меня ждали! Боже мой, как я счастлив! – сказал Александр.

– Я ждала? и не думала! – отвечала Наденька, качая головой, – вы знаете, я всегда в саду.

– Вы сердитесь? – робко спросил он.

– За что? вот идея!

– Ну дайте ручку.

Она подала ему руку, но только он коснулся до неё, она сейчас же вырвала – и вдруг изменилась. Улыбка исчезла, на лице обнаружилось что-то похожее на досаду.

– Что это, вы молоко кушаете? – спросил он. У Наденьки была чашка в руках и сухарь.

– Я обедаю, – отвечала она.

– Обедаете, в шесть часов, и молоком!

– Вам, конечно, странно смотреть на молоко после роскошного обеда у дядюшки? а мы здесь в деревне: живём скромно.

Она передними зубами отломала несколько крошек сухаря и запила молоком, сделав губами премиленькую гримасу.

– Я не обедал у дядюшки, я ещё вчера отказался, – отвечал Адуев.

– Какие вы бессовестные! Можно ли так лгать? Где ж вы были до сих пор?

– Сегодня на службе до четырёх часов просидел...

– А теперь шесть. Не лгите, признайтесь, уж соблазнились обедом, приятным обществом? там вам очень, очень весело было.

– Честное слово, я и не заходил к дядюшке... – начал с жаром оправдываться Александр. – Разве я тогда мог бы поспеть к вам об эту пору?

– А! вам это рано кажется? вы бы ещё часа через два приехали! – сказала Наденька и быстрым пируэтом вдруг отвернулась от него и пошла по дорожке к дому. Александр за нею.

– Не подходите, не подходите ко мне, – заговорила она, махая рукой, – я вас видеть не могу.

– Полноте шалить, Надежда Александровна!

– Я совсем не шалю. Скажите, где ж вы до сих пор были?

– В четыре часа вышел из департамента, – начал Адуев, – час ехал сюда...

– Так тогда было бы пять, а теперь шесть. Где ж вы провели ещё час? видите, ведь как лжёте!

– Отобедал у ресторатора на скорую руку...

– На скорую руку! один только час! – сказала она, – бедненькие! вы должны быть голодны. Не хотите ли молока?

– О, дайте, дайте мне эту чашку... – заговорил Александр и протянул руку.

Но она вдруг остановилась, опрокинула чашку вверх дном и, не обращая внимания на Александра, с любопытством смотрела, как последние капли сбегали с чашки на песок.

– Вы безжалостны! – сказал он, – можно ли так мучить меня?

– Посмотрите, посмотрите, Александр Федорыч, – вдруг перебила Наденька, погружённая в своё занятие, – попаду ли я каплей на букашку, вот что ползёт по дорожке?.. Ах, попала! бедненькая! она умрёт! – сказала она; потом заботливо подняла букашку, положила себе на ладонь и начала дышать на неё.

– Как вас занимает букашка! – сказал он с досадой.

– Бедненькая! посмотрите: она умрёт, – говорила Наденька с грустью, – что я сделала?

Она несла несколько времени букашку на ладони, и когда та зашевелилась и начала ползать взад и вперед по руке, Наденька вздрогнула, быстро сбросила её на землю и раздавила ногой, промолвив: «Мерзкая букашка!»

– Где же вы были? – спросила она потом.

– Ведь я сказал...

– Ах, да! у дядюшки. Много было гостей? Пили шампанское? Я даже отсюда слышу, как пахнет шампанским.

– Да нет, не у дядюшки! – в отчаянии перебил Александр. – Кто вам сказал?

– Вы же сказали.

– Да у него, я думаю, теперь за стол садятся. Вы не знаете этих обедов: разве такой обед кончается в один час?

– Вы обедали два – пятый и шестой.

– А когда же я ехал сюда?

Она ничего не отвечала, прыгнула и достала ветку акации, потом побежала по дорожке. Адуев за ней.

– Куда же вы? – спросил он.

- Куда? как куда? вот прекрасно! к маменьке.
- Зачем? Может быть, мы её обеспокоим.
- Нет, ничего.

Марья Михайловна, маменька Надежды Александровны, была одна из тех добрых и нехитрых матерей, которые находят прекрасным всё, что ни делают детки. Марья Михайловна велит, например, заложить коляску.

- Куда это, маменька? – спросит Наденька.
- Поедем прогуляться: погода такая славная, – говорит мать.
- Как можно: Александр Федорыч хотел быть.

И коляска откладывалась.

В другой раз Марья Михайловна усядется за свой нескончаемый шарф и начнёт вздыхать, нюхать табак и перебирать костяными спицами или углубится в чтение французского романа.

- Маман, что ж вы не одеваетесь? – спросит Наденька строго.
- А куда?
- Да ведь мы пойдём гулять.
- Гулять?
- Да. Александр Федорыч придёт за нами. Уж вы и забыли!
- Да я и не знала.
- Как этого не знать! – скажет Наденька с неудовольствием.

Мать покидала и шарф, и книгу, и шла одеваться. Так Наденька пользовалась полною свободою, распоряжалась и собою, и маменькою, и своим временем, и занятиями, как хотела. Впрочем, она была добрая и нежная дочь, нельзя сказать – послушная, потому только, что не она, а мать слушалась её; зато можно сказать, что она имела послушную мать.

- Подите к маменьке, – сказала Наденька, когда они подошли к дверям залы.
- А вы?
- Я после приду.
- Ну, так и я после.
- Нет, идите вперед.

Александр вошёл и тотчас же, на цыпочках, воротился назад.

- Она дремлет в креслах, – сказал он шёпотом.
- Ничего, пойдёмте. Маман, а маман!
- А!
- Александр Федорыч пришёл.
- А!
- Monsieur Адуев хочет вас видеть.
- А!
- Видите, как крепко уснула. Не будите её! – удерживал Александр.
- Нет, разбужу. Маман!
- А!
- Да проснитесь; Александр Федорыч здесь.

– Где Александр Федорыч? – говорила Марья Михайловна, глядя прямо на него и поправляя сдвинувшийся на сторону чепец. – Ах! это вы, Александр Федорыч? Милости просим! А я вот села тут да и вздремнула, сама не знаю отчего, видно к погоде. У меня что-то и мозоль начинает побаливать – быть дождю. Дремлю, да и вижу во сне, что будто Игнатий докладывает о гостях, только не поняла, о ком. Слышу, говорит, приехали, а кто – не пойму. Тут Наденька кличет, я сейчас же и проснулась. У меня лёгкий сон: чуть кто скрипнет, я уж и смотрю. Садитесь-ка, Александр Федорыч, здоровы ли вы?

- Покорно благодарю.

– Пётр Иваныч здоров ли?

– Слава богу, покорно благодарю.

– Что он не навестит нас никогда? Я вот ещё вчера думала: хоть бы, думаю, раз заехал когда-нибудь, а то нет – видно, занят?

– Очень занят, – сказал Александр.

– И вас другой день не видать! – продолжала Марья Михайловна. – Давеча проснулась, спрашиваю, что Наденька? Спит ещё, говорят. – Ну, пускай её спит, говорю, целый день на воздухе – в саду, погода стоит хорошая, устанет. В её лета спится крепко, не то что в мои: такая бессонница бывает, поверите ли? даже тоска делается; от нерв, что ли, – не знаю. Вот подают мне кофе: я ведь всегда в постеле его пью – пью да думаю: «Что это значит, Александра Федорыча не видать? уж здоров ли?» Потом встала, смотрю: одиннадцатый час – прошу покорнейше! людишки и не скажут! Прихожу к Наденьке – она ещё и не просыпалась. Я разбудила её. «Пора, мол, мать моя: скоро двенадцать часов, что это с тобой?» Я ведь целый день за ней, как нянька. Я и гувернантку отпустила нарочно, чтоб не было чужих. Вверх, пожалуй, чужим, так бог знает что сделают. Нет! я сама занималась её воспитанием, строго смотрю, от себя ни на шаг, и могу сказать, что Наденька чувствует это: от меня тайком и мысли никакой не допустит. Я её как будто насквозь вижу... Тут повар пришёл: с ним с час толковала; там почитала «Memoires du diable»¹⁰... ах, какой приятный автор Сулье! как мило описывает! Там соседка Марья Ивановна зашла с мужем, так я и не видала, как прошло утро, гляжу, уж и четвёртый час и обедать пора!.. Ах, да: что ж вы к обеду не пришли? мы вас ждали до пяти часов.

– До пяти часов? – сказал Александр, – я никак не мог, Марья Михайловна: служба задержала. Я вас прошу никогда не ждать меня долее четырёх часов.

– И я то же говорила, да вот Наденька: «Подождём да подождём».

– Я! ах, ах, татап, что вы! Не я ли говорю: «Пора, татап, обедать», а вы сказали: «Нет, надо подождать; Александр Федорыч давно не был: верно, придёт к обеду».

– Смотрите, смотрите! – заговорила Марья Михайловна, качая головой, – ах, какая бессовестная! свои слова да на меня же!

Наденька отвернулась, ушла в цветы и начала дразнить попугая.

– Я говорю: «Ну, где теперь Александру Федорычу быть? – продолжала Марья Михайловна, – уж половина пятого». – «Нет, говорит, татап, надо подождать, – он будет». Смотрю, три четверти: «Воля твоя, говорю я, Наденька: Александр Федорыч, верно, в гостях, не будет; я проголодалась». – «Нет, говорит, ещё подождать надо, до пяти часов». Так и проморила меня. Что, неправда, сударыня?

«Попка, попка! – слышалось из-за цветов, – где ты обедал сегодня, у дядюшки?»

– Что? спряталась! – промолвила мать, – видно, совестно на свет божий смотреть!

– Вовсе нет, – отвечала Наденька, выходя из боскета, и села у окна.

– И таки не села за стол! – говорила Марья Михайловна, – спросила чашку молока и пошла в сад; так и не обедала. Что? посмотри-ка мне прямо в глаза, сударыня.

Александр обомлел при этом рассказе. Он взглянул на Наденьку, но она обернулась к нему спиной и щипала листок плюща.

– Надежда Александровна! – сказал он, – ужели я так счастлив, что вы думали обо мне?

– Не подходите ко мне! – закричала она с досады, что её плутни открылись. – Маменька шутит, а вы готовы верить!

– А где ж ягоды, что ты приготовила для Александра Федорыча? – спросила мать.

– Ягоды?

¹⁰ «Воспоминания беса» (фр.) // «Воспоминания беса» (1837–1838) – авантюрный роман французского писателя Фредерика Сулье (1800–1847).

– Да, ягоды.

– Ведь вы их скушали за обедом... – отвечала Наденька.

– Я! опомнись, мать моя: ты спрятала и мне не дала. «Вот, говорит, Александр Федорыч приедет, тогда и вам дам». Какова?

Александр нежно и лукаво взглянул на Наденьку. Она покраснела.

– Сама чистила, Александр Федорыч, – прибавила мать.

– Что это вы всё сочиняете, татап? Я очистила две или три ягодки и те сама съела, а то Василиса...

– Не верьте, не верьте, Александр Федорыч: Василиса с утра в город послана. Зачем же скрывать? Александру Федорычу, верно, приятнее, что ты чистила, а не Василиса.

Наденька улыбнулась, потом скрылась опять в цветы и явилась с полной тарелкой ягод. Она протянула Адуеву руку с тарелкой. Он поцеловал руку и принял ягоды как маршальский жезл.

– Не стойте вы! заставить так долго ждать себя! – говорила Наденька, – я два часа у решётки стояла: вообразите! едет кто-то; я думала – вы, и махнула платком, вдруг незнакомые, какой-то военный. И он махнул, такой дерзкий!..

Вечером приходили и уходили гости. Начало смеркаться. Любецкие и Адуев остались опять втроём. Мало-помалу расстроилось и это трио. Наденька ушла в сад. Составился нескладный дуэт у Марьи Михайловны с Адуевым: долго пела она ему о том, что делала вчера, сегодня, что будет делать завтра. Им овладела томительная скука и беспокойство. Вечер наступает быстро, а он ещё не успел ни слова сказать Наденьке наедине. Выручил повар: благодетель пришёл спросить, что готовить к ужину, а у Адуева занимался дух от нетерпения, сильнее ещё, чем давеча в лодке. Едва заговорили о котлетах, о простокваше, Александр начал искусно ретироваться. Сколько манёвров употребил он, чтоб только отойти от кресел Марьи Михайловны! Подошёл сначала к окну и взглянул на двор, а ноги так и тянули его в открытую дверь. Потом медленными шагами, едва удерживаясь, чтоб не ринуться опроретью вон, он перешёл к фортепиано, постучал в разных местах по клавишам, взял с лихорадочным трепетом ноты с пюпитра, взглянул в них и положил назад; имел даже твёрдость понюхать два цветка и разбудить попугая. Тут он достиг высшей степени нетерпения; двери были подле, но уйти как-то всё неловко – надо было простоять минуты две и выйти как будто нечаянно. А повар уж сделал два шага назад, ещё слово – и он уйдёт, тогда Любецкая непременно обратится опять к нему. Александр не вытерпел и, как змей, выскользнул в двери и, соскочив с крыльца, не считая ступеней, в несколько шагов очутился в конце аллеи – на берегу, подле Наденьки.

– Насилу вспомнили обо мне! – сказала она на этот раз с кротким упрёком.

– Ах, что за муку я вытерпел, – отвечал Александр, – а вы не помогли!

Наденька показала ему книгу.

– Вот чем бы я вызвала вас, если б вы не пришли ещё минуту, – сказала она. – Садитесь, теперь татап уж не придёт: она боится сырости. Мне так много, так много надо сказать вам... ах!

– И мне тоже... ах!

И ничего не сказали или почти ничего, так кое-что, о чём уж говорили десять раз прежде. Обыкновенно что: мечты, небо, звёзды, симпатия, счастье. Разговор больше происходил на языке взглядов, улыбок и междометий. Книга валялась на траве.

Наступала ночь... нет, какая ночь! разве летом в Петербурге бывают ночи? это не ночь, а... тут надо бы выдумать другое название – так, полусвет... Всё тихо кругом. Нева точно спала; изредка, будто впросонках, она плеснёт лёгонько волной в берег и замолчит. А там откуда ни возьмётся поздний ветерок, пронесётся над сонными водами, но не сможет разбудить их, а только зарядит поверхность и повеет прохладой на Наденьку и Александра или

принесёт им звук дальней песни – и снова всё смолкнет, и опять Нева неподвижна, как спящий человек, который при лёгком шуме откроет на минуту глаза и тотчас снова закроет; и сон пуще сомкнёт его отяжелевшие веки. Потом со стороны моста послышится как будто отдалённый гром, а вслед за тем лай сторожевой собаки с ближайшей тони, и опять всё тихо. Деревья образовали тёмный свод и чуть-чуть, без шума, качали ветвями. На дачах по берегам мелькали огоньки.

Что особенного тогда носится в этом тёплом воздухе? Какая тайна пробегает по цветам, деревьям, по траве и веет неизъяснимой негой на душу? зачем в ней тогда рождаются иные мысли, иные чувства, нежели в шуме, среди людей? А какая обстановка для любви в этом сне природы, в этом сумраке, в безмолвных деревьях, благоухающих цветах и уединении! Как могущественно всё настраивало ум к мечтам, сердце к тем редким ощущениям, которые во всегдашней, правильной и строгой жизни кажутся такими бесполезными, неуместными и смешными отступлениями... да! бесполезными, а между тем в те минуты душа только и постигает смутно возможность счастья, которого так усердно ищут в другое время и не находят.

Александр и Наденька подошли к реке и опёрлись на решётку. Наденька долго, в раздумье, смотрела на Неву, на даль, Александр на Наденьку. Души их были переполнены счастьем, сердца сладко и вместе как-то болезненно ныли, но язык безмолвствовал.

Вот Александр тихо коснулся её талии. Она тихо отвела локтем его руку. Он дотронулся опять, она отвела слабее, не спуская глаз с Невы. В третий раз не отвела.

Он взял её за руку – она не отняла и руки; он пожал руку: рука отвечала на пожатие. Так стояли они молча, а что чувствовали!

– Наденька! – сказал он тихо.

Она молчала.

Александр с замирающим сердцем наклонился к ней. Она почувствовала горячее дыхание на щеке, вздрогнула, обернулась и – не отступила в благородном негодовании, не вскрикнула! – она не в силах была притвориться и отступить: обаяние любви заставило молчать рассудок, и когда Александр прильнул губами к её губам, она отвечала на поцелуй, хотя слабо, чуть внятно.

«Неприлично! – скажут строгие маменьки, – одна в саду, без матери, целуется с молодым человеком!» Что делать! неприлично, но она отвечала на поцелуй.

«О, как человек может быть счастливым!» – сказал про себя Александр и опять наклонился к её губам и пробыл так несколько секунд.

Она стояла бледная, неподвижная, на ресницах блистали слёзы, грудь дышала сильно и прерывисто.

– Как сон! – шептал Александр. Вдруг Наденька встрепенулась, минута забвения прошла.

– Что это такое? вы забылись! – вдруг сказала она и бросилась от него на несколько шагов. – Я маменьке скажу!

Александр упал с облаков.

– Надежда Александровна! Не разрушайте моего блаженства упрёком, – начал он, – не будьте похожи на...

Она посмотрела на него и вдруг громко, весело засмеялась, опять подошла к нему, опять стала у решётки и доверчиво опёрлась рукой и головой ему на плечо.

– Так вы меня очень любите? – спросила она, отирая слезу, выкатившуюся на щёку.

Александр сделал невыразимое движение плечами. На лице его было «преглупое выражение», сказал бы Пётр Иваныч, что, может быть, и правда, но зато сколько счастья в этом глупом выражении!

Они по-прежнему молча смотрели и на воду, и на небо, и на даль, будто между ними ничего не было. Только боялись взглянуть друг на друга; наконец взглянули, улыбнулись и тотчас отвернулись опять.

– Ужели есть горе на свете? – сказала Наденька, помолчав.

– Говорят, есть... – задумчиво отвечал Адуев, – да я не верю...

– Какое же горе может быть?

– Дядюшка говорит – бедность.

– Бедность! да разве бедные не чувствуют того же, что мы теперь? вот уж они и не бедны.

– Дядюшка говорит, что им не до того – что надо есть, пить...

– Фи! есть! Дядюшка ваш неправду говорит: можно и без этого быть счастливыми: я не обедала сегодня, а как я счастлива!

Он засмеялся.

– Да, за эту минуту я отдала бы бедным всё, всё! – продолжала Наденька, – пусть придут бедные. Ах! зачем я не могу утешить и обрадовать всех какой-нибудь радостью?

– Ангел! ангел! – восторженно произнёс Александр, сжав её руку.

– Ох, как вы больно жмёте! – вдруг перебила Наденька, сморщив брови и отняв руку.

Но он схватил руку опять и начал целовать с жаром.

– Как я буду молиться, – продолжала она, – сегодня, завтра, всегда за этот вечер! как я счастлива! А вы?..

Вдруг она задумалась; в глазах мелькнула тревога.

– Знаете ли, – сказала она, – говорят, будто что было однажды, то уж никогда больше не повторится! Стало быть, и эта минута не повторится?

– О нет! – отвечал Александр, – это неправда: повторится! будут лучшие минуты; да, я чувствую!..

Она недоверчиво покачала головой. И ему пришли в голову уроки дяди, и он вдруг остановился.

«Нет, – говорил он сам с собой, – нет, этого быть не может! дядя не знал такого счастья, оттого он так строг и недоверчив к людям. Бедный! мне жаль его холодного, чёрстного сердца: оно не знало упоения любви, вот отчего это жёлчное гонение на жизнь. Бог его простит! Если б он видел моё блаженство, и он не наложил бы на него руки, не оскорбил бы нечистым сомнением. Мне жаль его...»

– Нет, Наденька, нет, мы будем счастливы! – продолжал он вслух. – Посмотри вокруг: не радуется ли всё здесь, глядя на нашу любовь? Сам бог благословит её. Как весело пройдем мы жизнь рука об руку! как будем *горды, велики взаимной любовью!*

– Ах, перестаньте, перестаньте загадывать! – перебила она, – не пророчьте: мне что-то страшно делается, когда вы говорите так. Мне и теперь грустно...

– Чего же бояться? Неужели нельзя верить самим себе?

– Нельзя, нельзя! – говорила она, качая головой. Он посмотрел на неё и задумался.

– Отчего? Что же, – начал он потом, – может разрушить этот мир нашего счастья – кому нужна до нас? Мы всегда будем одни, станем удаляться от других; что нам до них за дело? и что за дело им до нас? нас не вспомнят, забудут, и тогда нас не потревожат и слухи о горе и бедах, точно так, как и теперь, здесь, в саду, никакой звук не тревожит этой торжественной тишины...

– Наденька! Александр Федорыч! – раздалось вдруг с крыльца, – где вы?

– Слышите! – сказала Наденька пророческим тоном, – вот намёк судьбы: эта минута не повторится больше – я чувствую...

Она схватила его за руку, сжала её, поглядела на него как-то странно, печально и вдруг бросилась в тёмную аллею.

Он остался один в раздумье.

– Александр Федорыч! – раздалось опять с крыльца, – простокваша давно на столе.

Он пожал плечами и пошёл в комнату.

– За мигом невыразимого блаженства – вдруг простокваша!! – сказал он Наденьке. – Ужели всё так в жизни?

– Лишь бы не было хуже, – весело отвечала она, а простокваша очень хороша, особенно для того, кто не обедал.

Счастье одушевило её. Щёки её пылали, глаза горели необыкновенным блеском. Как заботливо хозяйничала она, как весело болтала! не было и тени мелькнувшей мгновенно печали: радость поглотила её.

Заря охватила уже полнеба, когда Адуев сел в лодку. Гребцы в ожидании обещанной награды поплевали на руки и начали было по-давешнему привскакивать на местах, изо всей мочи работая вёслами.

– Тише ехать! – сказал Александр, – ещё полтинник на водку!

Они поглядели на него, потом друг на друга. Один почесал грудь, другой спину, и стали чуть шевелить вёслами, едва дотрогиваясь до воды. Лодка поплыла, как лебедь.

«И дядюшка хочет уверить меня, что счастье химера, что нельзя безусловно верить ничему, что жизнь... бессовестный! зачем он хотел так жестоко обмануть меня? Нет, вот жизнь! так я воображал её себе, такова она должна быть, такова есть и такова будет! Иначе нет жизни!»

Свежий, утренний ветерок чуть-чуть подул с севера. Александр слегка вздрогнул, и от ветерка и от воспоминания, потом зевнул и, закутавшись в плащ, погрузился в мечты.

V

Адуев достиг апогея своего счастья. Ему нечего было более желать. Служба, журнальные труды – всё забыто, заброшено. Его уж обошли местом: он едва заметил это, и то потому, что напомнил дядя. Пётр Иваныч советовал бросить пустяки, но Александр при слове «пустяки» пожимал плечами, с сожалением улыбался и молчал. Дядя, увидя бесполезность своих представлений, тоже пожал плечами, улыбнулся с сожалением и замолчал, промолвив только: «Как хочешь, это твоё дело, только смотри презренного металла не проси».

– Не бойтесь, дядюшка, – говорил на это Александр, – худо, когда мало денег, много мне не нужно, а довольно – у меня есть.

– Ну, и поздравляю тебя, – прибавил Пётр Иваныч.

Александр видимо избегал его. Он потерял всякую доверенность к его печальным предсказаниям и боялся холодного взгляда на любовь вообще и оскорбительных намёков на отношения его к Наденьке в особенности.

Ему противно было слушать, как дядя, разбирая любовь его, просто, по общим и одинаким будто бы для всех законам, профанировал это высокое, святое, по его мнению, дело. Он таил свои радости, всю эту перспективу розового счастья, предчувствуя, что чуть коснётся его анализ дяди, то, того и гляди, розы рассыплются в прах или превратятся в назём. А дядя сначала избегал его оттого, что вот, думал, малый заленится, замотается, придёт к нему за деньгами, сядет на шею.

В походке, взгляде, во всём обращении Александра было что-то торжественное, таинственное. Он вёл себя с другими, как богатый капиталист на бирже с мелкими купцами, скромно и с достоинством, думая про себя: «Жалкие! кто из вас обладает таким сокровищем, как я? кто так умеет чувствовать? чья могучая душа...» – и проч.

Он был уверен, что он один на свете так любит и любим.

Впрочем, он избегал не только дяди, но и *толпы*, как он говорил. Он или поклонялся своему божеству, или сидел дома, в кабинете, один, упиваясь блаженством, анализируя, разлагая его на бесконечно малые атомы. Он называл это *творить особый мир*, и, сидя в своём уединении, точно сотворил себе из ничего какой-то мир и обретался больше в нём, а на службу ходил редко и неохотно, называя её *горькою необходимостью, необходимым злом* или *печальной прозой*. Вообще у него много было вариантов на этот предмет. К редактору и к знакомым вовсе не ходил.

Беседовать с своим *я* было для него высшею отрадою. «Наедине с собою только, – писал он в какой-то повести, – человек видит себя как в зеркале; тогда только научается он верить в человеческое величие и достоинство. Как прекрасен он в этой беседе с своими душевными силами! как вождь, он делает им строгий обзор, строит их по мудро обдуманному плану и стремится во главе их, и действует и зиждет! Как жалок, напротив, кто не умеет и боится быть с собою, кто бежит от самого себя и всюду ищет общества, чуждого ума и духа...» Подумаешь, мыслитель какой-нибудь открывает новые законы строения мира или бытия человеческого, а то просто влюблённый!



Вот он сидит в вольтеровских креслах. Перед ним лист бумаги, на котором набросано несколько стихов. Он то наклонится над листом и сделает какую-нибудь поправку или прибавит два-три стиха, то опрокинется на спинку кресел и задумается. На губах блуждает улыбка; видно, что он только лишь отвёл их от полной чаши счастья. Глаза у него закроются томно, как у дремлющего кота, или вдруг сверкнут огнём внутреннего волнения.

Кругом тихо. Только издали, с большой улицы, слышится гул от экипажей, да по временам Евсей, устав чистить сапог, заговорит вслух: «Как бы не забыть: давеча в лавочке на грош уксусу взял да на гривну капусты, завтра надо отдать, а то лавочник, пожалуй, в другой раз и не поверит – такая собака! Фунтами хлеб вешают, словно в голодный год, – срам! Ух, господи, умаялся. Вот только дочичу этот сапог – и спать. В Грачах, чай, давно спят: не поздешнему! Когда-то господь бог приведёт увидеть...»

Тут он громко вздохнул, подышал на сапог и опять начал шмыгать щёткой. Он считал это занятие главной я чуть ли не единственной своей обязанностью и вообще способностью чистить сапоги измерял достоинство слуги и даже человека; сам он чистил с какою-то страстью.

– Перестань, Евсей! ты мне мешаешь дело делать своими пустяками! – кричал Адуев.

– Пустяки, – ворчал про себя Евсей, – как не пустяки: у тебя так вот пустяки, а я дело делаю. Вишь ведь, как загрязнил сапоги, насилу отчистишь. – Он поставил сапог на стол и гляделся с любовью в зеркальный лоск кожи. – Поди-ка, вычисти кто этак, – примолвил он, – пустяки!

Александр вое глубже и глубже погружался в свои мечты о Наденьке, потом в творческие мечты.

На столе было пусто. Всё, что напоминало о прежних его занятиях, о службе, о журнальной работе, лежало под столом, или на шкафе, или под кроватью. «Один вид *этой грязи*, – говорил он, – пугает творческую думу, и она улетает, как соловей из рощи, при внезапном скрипе намазанных колёс, раздавшемся с дороги».

Часто заря заставляла его над какой-нибудь элегией. Все часы, проводимые не у Любецких, посвящались творчеству. Он напишет стихотворение и прочтёт его Наденьке; та переписет на хорошенькой бумажке и выучит, и он «познал *высшее блаженство поэта – слышать своё произведение из милых уст*».

«Ты моя муза, – говорил он ей, – будь Вестой этого священного огня, который горит в моей груди; ты оставишь его – и он заглохнет навсегда».

Потом он посылал стихи под чужим именем в журнал. Их печатали, потому что они были недурны, местами не без энергии и все проникнуты пылким чувством; написаны гладко.

Наденька гордилась его любовью и звала его «мой поэт».

«Да, твой, вечно твой», – прибавлял он. Впереди улыбалась слава, и венок, думал он, сплетёт ему Наденька и перевьёт лавр миртами, а там... «Жизнь, жизнь, как ты прекрасна! – восклицал он. – А дядя? Зачем смущает он мир души моей? Не демон ли это, посланный мне судьбою? Зачем отравляет он жёлчью всё моё благо? не из зависти ли, что сердце его чуждо этим чистым радостям, или, может быть, из мрачного желания вредить... о, дальше, дальше от него!.. Он убьёт, заразит своею ненавистью мою любящую душу, развратит её...»

И он бежал от дяди, не видался с ним по целым неделям, по месяцам. А если, при встрече, разговор заходил о чувстве, он насмешливо молчал или слушал, как человек, которого убеждения нельзя поколебать никакими доводами. Он свои суждения считал непогрешительными, мнения и чувства непреложными и решился вперёд руководствоваться только ими, говоря, что он уже не мальчик и что *зачем же мнения чужие только святы*¹¹? и проч.

А дядя был всё тот же: он ни о чём не расспрашивал племянника, не замечал или не хотел заметить его проделок. Видя, что положение Александра не изменяется, что он ведёт прежний образ жизни, не просит у него денег, он стал с ним ласков по-прежнему и слегка упрекал, что редко бывает у него.

¹¹ Зачем же мнения чужие только святы? – слова Чацкого из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (действие третье, явление 3).

– Жена сердится на тебя, – говорил он, – она привыкла считать тебя родным; мы обедаем каждый день дома; заходи.

И только. Но Александр редко заходил, да и некогда было: утро на службе, после обеда до ночи у Любецких; оставалась ночь, а ночью он уходил в свой особенный, сотворённый им *мир* и продолжал творить. Да притом не мешает же ведь соснуть немножко.

В изящной прозе он был менее счастлив. Он написал комедию, две повести, какой-то очерк и путешествие куда-то. Деятельность его была изумительна, бумага так и горела под пером. Комедию и одну повесть сначала показал дяде и просил сказать, годится ли? Дядя прочитал на выдержку несколько страниц и отослал назад, написав сверху: «Годится для... перегородки!»

Александр взбесился и отослал в журнал, но ему возвратили и то и другое. В двух местах на полях комедии отмечено было карандашом: «Недурно» – и только. В повести часто встречались следующие отметки: «Слабо, неверно, незрело, вяло, неразвито» и проч., а в конце сказано было: «Вообще заметно незнание сердца, излишняя пылкость, неестественность, все на ходулях, нигде не видно человека... герой уродлив... таких людей не бывает... к напечатанию неудобно! Впрочем, автор, кажется, не без дарования, надо трудиться!..»

«Таких людей не бывает! – подумал огорчённый и изумлённый Александр, – как не бывает? да ведь герой-то я сам. Неужели мне изображать этих пошлых героев, которые встречаются на каждом шагу, мыслят и чувствуют, как толпа, делают, что все делают, – эти жалкие лица вседневных мелких трагедий и комедий, не отмеченные особой печатью... унижится ли искусство до того?..»

Он, в подтверждение чистоты исповедуемого им учения об изящном, призывал тень Байрона, ссылаясь на Гёте и на Шиллера. Героем, возможным в драме или в повести, он воображал не иначе как какого-нибудь корсара или великого поэта, артиста и заставлял их действовать и чувствовать по-своему.

В одной повести местом действия избрал он Америку, обстановка была роскошная; американская природа, горы, и среди всего этого изгнанник, похитивший свою возлюбленную. Целый мир забыл их; они любовались собой да природой, и когда пришла весть о прощении и возможность возвратиться на родину, они отказались. Потом, лет через двадцать, какой-то европеец приехал туда, пошёл в сопровождении индейцев на охоту и нашёл на одной горе хижину и в ней скелет. Европеец был соперник героя. Как казалась ему хороша эта повесть! с каким восторгом читал он её в зимние вечера Наденьке! как жадно она внимала ему! – и не принять этой повести!

Об этой неудаче он ни полслова Наденьке; проглотил обиду молча – и концы в воду. «Что же повесть, – спрашивала она, – напечатали?» – «Нет! – говорил он, – нельзя; там много такого, что у нас покажется дико и странно...»

Если б он знал, какую правду сказал он, думая сказать её совсем в другом смысле.

Трудиться казалось ему тоже странным. «Зачем же талант? – говорил он. – Трудится бездарный труженик; талант творит легко и свободно...» Но, вспомнив, что статьи его о сельском хозяйстве, да и стихи тоже, были сначала так, ни то ни сё, а потом постепенно совершенствовались и обратили на себя особенное внимание публики, он задумался, понял нелепость своего заключения и со вздохом отложил изящную прозу до другого времени: когда сердце будет биться ровнее, мысли придут в порядок, тогда он дал себе слово заняться как следует.

Дни шли за днями, дни непрерывных наслаждений для Александра. Он счастлив был, когда поцелует кончик пальца Наденьки, просидит против неё в картинной позе часа два, не спуская с неё глаз, млея и вздыхая или декламируя приличные сличаю стихи.

Справедливость требует сказать, что она иногда на вздохи и стихи отвечала зевотой. И не мудрено: сердце её было занято, но ум оставался празден. Александр не позаботился

дать ему пищи. Год, назначенный Наденькою для испытания, проходил. Она жила с матерью опять на той же даче. Александр заговаривал о её обещании, просил позволения поговорить с матерью. Наденька отложила было до переезда в город, но Александр настаивал.

Наконец, однажды вечером, при прощанье, она позволила Александру переговорить на другой день с матерью.

Александр не уснул целую ночь, не ходил в должность. В голове у него вертелся завтрашний день; он всё придумывал, как говорить с Марьей Михайловной, сочинил было речь, приготовился, но едва вспомнил, что дело идёт о Наденькиной руке, растерялся в мечтах и опять всё забыл. Так он приехал вечером на дачу, не подготовившись ни в чём; да и не нужно было: Наденька встретила его, по обыкновению, в саду, но с оттенком лёгкой задумчивости в глазах и без улыбки, а как-то рассеянно.

– Нынче нельзя говорить с маменькой, – сказала она, – у нас этот гадкий граф сидит!

– Граф! какой граф?

– Вот не знаете, какой граф! граф Новинский, известно, наш сосед; вот его дача; сколько раз сами хвалили сад!

– Граф Новинский! у вас! – сказал изумлённый Александр, – по какому случаю?

– Я ещё и сама не знаю хорошенько, – отвечала Наденька, – я сидела здесь и читала вашу книжку, а маменьки дома не было; она пошла к Марье Ивановне. Только стал накрапывать дождь, я иду в комнату, вдруг к крыльцу подъезжает коляска, голубая с белой обивкой, та самая, что всё мимо нас ездила, – ещё вы хвалили. Смотрю, выходит маменька с каким-то мужчиной. Вошли; маменька и говорит: «Вот, граф, это моя дочь; прошу любить да жаловать». Он поклонился, и я тоже. Мне стыдно стало, я покраснела и убежала в свою комнату. А маменька – такая несносная – слышу, говорит: «Извините, граф, она у меня такая дикарка...» Тут я и догадалась, что это должен быть наш сосед, граф Новинский. Верно, он завёз маменьку в экипаже от Марьи Ивановны, от дождя.

– Он... старик? – спросил Александр.

– Какой старик, фи! что вы: молодой, хорошенький!..

– Уж вы успели рассмотреть, что хорошенький! – с досадой сказал Александр.

– Вот прекрасно! долго ли рассмотреть? Я с ним уж говорила. Ах! он прелюбезный: расспрашивал, что я делаю; о музыке говорил; просил спеть что-нибудь, да я не стала, я почти не умею. Нынешней зимой непременно попрошу папашу взять мне хорошего учителя пения. Граф говорит, что это нынче очень в моде – петь.

Всё это было сказано с необыкновенною живостью.

– Я думал, Надежда Александровна, – заметил Адуев, – что нынешней зимой у вас, кроме пения, будет занятие...

– Какое же?

– Какое! – с упрёком сказал Александр.

– Ах! да... что, вы на лодке сюда приехали?

Он молча смотрел на неё. Она повернулась и пошла к дому.

Адуев не совсем покойно вошёл в залу. Что за граф? Как с ним вести себя? каков он в обращении? горд? небрежен? Вошёл. Граф первый встал и вежливо поклонился. Александр отвечал принуждённым и неловким поклоном. Хозяйка представила их друг другу. Граф почему-то не нравился ему; а он был прекрасный мужчина: высокий, стройный блондин, с большими выразительными глазами, с приятной улыбкой. В манерах простота, изящество, какая-то мягкость. Он, кажется, расположил бы к себе всякого, но Адуева не расположил.

Александр, несмотря на приглашение Марьи Михайловны – сесть поближе, сел в угол и стал смотреть в книгу, что было очень не светски, неловко, неуместно. Наденька стала за креслом матери, с любопытством смотрела на графа и слушала, что и как он говорит: он был для неё новостью.

Адуев не умел скрыть, что граф не нравился ему. Граф, казалось, не замечал его грубости: он был внимателен и обращался к Адуеву, стараясь сделать разговор общим. Всё напрасно: тот молчал или отвечал: да и нет.

Когда Любецкая случайно повторила его фамилию, граф спросил, не родня ли ему Пётр Иваныч.

– Дядя! – отвечал отрывисто Александр.

– Я с ним часто встречаюсь в свете, – сказал граф.

– Может быть. Что ж тут мудрёного? – отвечал Адуев и пожал плечами.

Граф скрыл улыбку, закусив немного нижнюю губу. Наденька переглянулась с матерью, покраснела и потупила глаза.

– Ваш дядюшка умный и приятный человек! – заметил граф тоном лёгкой иронии.

Адуев молчал.

Наденька не вытерпела, подошла к Александру и, пока граф говорил с её матерью, шепнула ему: «Как вам не стыдно! граф так ласков с вами, а вы?..»

– Ласков! – с досадой, почти вслух отвечал Александр, – я не нуждаюсь в его ласках, не повторяйте этого слова...

Наденька отскочила от него прочь и издали долго глядела на него неподвижно, сделав большие глаза, потом стала опять за стулом матери и не обращала уже внимания на Александра.

А Адуев всё ждал: вот граф уйдёт, и он наконец успеет переговорить с матерью. Но пробило десять, одиннадцать часов, граф не уходит и всё говорит.

Все предметы, около которых обыкновенно вертится разговор в начале знакомства, истожились. Граф начал шутить. Он шутил умно: в его шутках – ни малейшей принуждённости, ни претензии на остроумие, а так что-то занимательное, какая-то особенная способность забавно рассказать, даже не анекдот, а просто новость, случай, или одним неожиданным словом серьёзную вещь превратить в смешную.

И мать и дочь совершенно поддались влиянию его шуток, и сам Александр не раз прикрывал книгой невольную улыбку. Но он бесился в душе.

Граф говорил обо всём одинаково хорошо, с тактом, и о музыке, и о людях, и о чужих краях. Зашёл разговор о мужчинах, о женщинах: он побранил мужчин, в том числе и себя, ловко похвалил женщин вообще и сделал несколько комплиментов хозяйкам в особенности.

Адуев подумал о своих литературных занятиях, о стихах. «Вот тут бы я его срезал», – подумал он. Заговорили и о литературе; мать и дочь рекомендовали Александра, как писателя.

«Вот сконфузится-то!» – подумал Адуев.

Вовсе нет. Граф говорил о литературе, как будто никогда ничем другим не занимался; сделал несколько беглых и верных замечаний о современных русских и французских знаменитостях. Вдобавок ко всему оказалось, что он находился в дружеских сношениях с первоклассными русскими литераторами, а в Париже познакомился с некоторыми и из французских. О немногих отозвался он с уважением, других слегка очертил в карикатуре.

О стихах Александра он сказал, что не знает их и не слышал...

Наденька как-то странно посмотрела на Адуева, как будто спрашивая: «Что ж, брат, ты? недалёко уехал...»

Александр оробел. Дерзкая и грубая мина уступила место унынию. Он походил на петуха с мокрым хвостом, прячущегося от непогоды под навес.

Вот в буфете зазвенели стаканами, ложками, накрывают стол, а граф не уходит. Исчезла всякая надежда. Он даже согласился на приглашение Любецкой остаться и поужинать простокваши.

«Граф, а ест простоквашу!» – шептал Адуев, с ненавистью глядя на графа.

Граф ужинал с аппетитом, продолжая шутить, как будто он был у себя.

– В первый раз в доме, бессовестный, а ест за троих! – шепнул Александр Наденьке.

– Что ж! он *кушать* хочет! – отвечала она простодушно.

Граф наконец ушёл, но говорить о деле было поздно. Адуев взял шляпу и побежал вон.

Наденька нагнала его и успела успокоить.

– Так завтра? – спросил Александр.

– Завтра нас дома не будет.

– Ну, послезавтра.

Они расстались.

Послезавтра Александр приехал пораньше. Ещё в саду до него из комнаты доносились незнакомые звуки... виолончель не виолончель... Он ближе... поёт мужской голос, и какой голос! звучный, свежий, который так, кажется, и просится в сердце женщины. Он дошёл до сердца и Адуева, но иначе: оно замерло, заныло от тоски, зависти, ненависти, от неясного и тяжёлого предчувствия. Александр вошёл в переднюю со двора.

– Кто у вас? – спросил он у человека.

– Граф Новинский.

– Давно?

– С шести часов.

– Скажи тихонько барышне, что я был и зайду опять.

– Слушаю-с.

Александр вышел вон и пошёл бродить по дачам, едва замечая, куда идёт. Часа через два он воротился.

– Что, всё ещё у вас? – спросил он.

– У нас; да, кажется, кушать останутся. Барыня приказала жарить рябчиков к ужину.

– А ты говорил барышне обо мне?

– Говорил-с.

– Ну, что ж она?

– Ничего не изволила приказывать.

Александр уехал домой и не являлся два дня. Бог знает, что он передумал и перечувствовал; наконец поехал.

Вот он завидел дачу, встал в лодке и, прикрыв глаза рукой от солнца, смотрел вперёд. Вон между деревьями мелькает синее платье, которое так ловко сидит на Наденьке; синий цвет так к лицу ей. Она всегда надевала это платье, когда хотела особенно нравиться Александру. У него отлегло от сердца.

«А! она хочет вознаградить меня за временную, невольную небрежность, – думал он, – не она, а я виноват: как можно было так непростительно вести себя? этим только вооружишь против себя; чужой человек, новое знакомство... очень натурально, что она, как хозяйка... А! вон выходит из-за куста с узенькой тропинки, идёт к решётке, тут остановится и будет ждать...»

Она точно вышла на большую аллею... но кто ж ещё с ней поворачивает с дорожки?..

– Граф! – горестно, вслух воскликнул Александр и не верил своим глазам.

– Ась? – откликнулся один гребец.

– Одна с ним в саду... – шепнул Александр, – как со мной...

Граф с Наденькой подошли к решётке и, не взглянув на реку, повернулись и медленно пошли по аллее назад. Он наклонился к ней и говорил что-то тихо. Она шла потупя голову.

Адуев всё стоял в лодке, с раскрытым ртом, не шевелясь, протянув руки к берегу, потом опустил их и сел. Гребцы продолжали грести.

– Куда вы? – бешено закричал на них Александр, опомнившись. – Назад!

– Назад ехать? – повторил один, глядя на него разинув рот.

– Назад! глух, что ли, ты?

– А туда не понадобится?

Другой гребец молча, проворно стал забирать веслом слева, потом ударили в два весла, и лодка быстро помчалась обратно. Александр нахлобучил шляпу чуть не до плеч и погрузился в мучительную думу.

После того он не ездил к Любецким две недели.

Две недели: какой срок для влюблённого! Но он всё ждал: вот пришлют человека узнать, что с ним? не болен ли? как это всегда делалось, когда он захворает или так, закапризничает. Наденька сначала, бывало, от имени матери сделает вопрос по форме, а потом чего не напишет от себя! Какие милые упрёки, какое нежное беспокойство! что за нетерпение!

«Нет, теперь я не сдамся скоро, – думал Александр, я её помучаю. Я научу её, как должно обходиться с посторонним мужчиной; примирение будет не легко!»

И он задумал жестокий план мщения, мечтал о раскаянии, о том, как он великодушно простит и даст наставление. Но к нему не шлют человека и не несут повинной; он как будто не существовал для них.

Он похудел, сделался бледен. Ревность мучительнее всякой болезни, особенно ревность по подозрениям, без доказательств. Когда является доказательство, тогда конец и ревности, большею частью и самой любви, тогда знают по крайней мере, что делать, а до тех пор – мука! и Александр испытывал её вполне.

Наконец он решился поехать утром, думая застать Наденьку одну и объясниться с ней.

Приехал. В саду никого не было, в зале и гостиной тоже. Он вышел в переднюю, отворил дверь на двор...

Какая сцена представилась ему! Два жокея, в графской ливрее, держали верховых лошадей. На одну из них граф и человек сажали Наденьку; другая приготовлена была для самого графа. На крыльце стояла Марья Михайловна. Она, наморщившись, с беспокойством смотрела на эту сцену.

– Крепче сиди, Наденька, – говорила она. – Посмотрите, граф, за ней, ради Христа! Ах! я боюсь, ей-богу, боюсь. Придерживайся за ухо лошади, Наденька: видишь, она точно бес – так и юлит.

– Ничего, татап, – весело сказала Наденька, – я ведь уж умею ездить: посмотрите.

Она хлестнула лошадь, та бросилась вперед и начала прыгать и рваться на месте.

– Ах, ах! держите! – закричала Марья Михайловна, махая рукой, – перестань, убьёт!

Но Наденька потянула поводья, и лошадь стала.

– Видите, как она меня слушается! – сказала Наденька и погладила лошадь по шее.

Адуева никто и не заметил. Он, бледный, молча смотрел на Наденьку, а она, как на смех, никогда не казалась так хороша, как теперь. Как шла к ней амазонка и эта шляпка с зелёной вуалью! как обрисовывалась её талия! Лицо одушевлено было стыдливою гордостью и роскошью нового ощущения. Румянец то пропадал, то выступал от удовольствия на щеках. Лошадь слегка прыгала и заставляла стройную наездницу грациозно наклоняться и откидываться назад. Стан её покачивался на седле, как стебель цветка, колеблемый ветерком. Потом жокей подвёл лошадь графу.

– Граф! мы опять через рошу поедем? – спросила Наденька.

«Опять!» – подумал Адуев.

– Очень хорошо, – отвечал граф. Лошади тронулись с места.

– Надежда Александровна! – вдруг закричал Адуев каким-то диким голосом.

Все остановились как вкопанные, как будто окаменели, и смотрели в недоумении на Александра. Это продолжалось с минуту.

– Ах, это Александр Федорыч! – первая сказала мать, опомнившись. Граф приветливо поклонился. Наденька проворно откинула вуаль от лица, обернулась и посмотрела на него с

испугом, открыв немного ротик, потом быстро отвернулась, стегнула лошадь, та рванулась по вперёд и в два прыжка исчезла за воротами; за нею пустился граф.

– Тише, тише, ради бога, тише! – кричала мать вслед, – за ухо держи. А! господи боже мой, того и гляди упадёт: что это за страсти такие!

И всё пропало; слышен был только лошадиный топот, да пыль облаком поднялась с дороги. Александр остался с Любецкой. Он молча смотрел на неё, как будто спрашивал глазами: «Что это значит?» Та не заставила долго ждать ответа.

– Уехали, – сказала она, – и след простыл! Ну, пусть молодёжь порезвится, а мы с вами побеседуем, Александр Федорыч. Да что это две недели о вас ни слуху ни духу: разлюбили, что ли, нас?

– Я был болен, Марья Михайловна, – угрюмо отвечал он.

– Да, это видно: вы похудели и бледные такие! Сядьте-ка поскорей, отдохните; да не хотите ли, я прикажу сварить яичек всмятку? до обеда ещё долго.

– Благодарю вас; я не хочу.

– Отчего? ведь сейчас будут готовы; а яйца славные: чухонец только сегодня принёс.

– Нет-с, нет.

– Что ж это с вами? А я всё жду да жду, думаю: что ж это значит, и сам не едет и книжек французских не везёт? Помните, вы обещали что-то: «*Peau de chagrin*»¹², что ли? Жду, жду – нет! разлюбил, думаю, Александр Федорыч нас, право разлюбил.

– Я боюсь, Марья Михайловна, не разлюбили ли вы меня?

– Грех вам бояться этого, Александр Федорыч! Я люблю вас как родного; вот не знаю, как Наденька; да она ещё ребёнок: что смыслит? где ей ценить людей! Я каждый день твержу ей: что это, мол, Александра Федорыча не видать, что не едет? и всё поджидаю. Поверите ли, каждый день до пяти часов обедать не садилась, всё думала: вот подъедет. Уж и Наденька говорит иногда: «Что это, татап, кого вы ждёте? мне кушать хочется, и графу, я думаю, тоже...»

– А граф... часто бывает?... – спросил Александр.

– Да почти каждый день, а иногда по два раза в один день; такой добрый, так полюбил нас... Ну, вот, говорит Наденька: «Есть хочу да и только! пора за стол». – «А как Александр Федорыч, говорю я, будет?...» – «Не будет, говорит она, хотите пари, что не будет? нечего ждать...» – Любецкая резала Александра этими словами, как ножом.

– Она... так и говорила? – спросил он, стараясь улыбнуться.

– Да, так-таки и говорит и торопит. Я ведь строга, даром что смотрю такой доброй. Я уж бранила её: «То ждёшь, мол, его до пяти часов, не обедаешь, то вовсе не хочешь подождать – бестолковая! нехорошо! Александр Федорыч старый наш знакомый, любит нас, и дяденька его Пётр Иваныч много нам расположения своего показал... нехорошо так небрежничать! он, пожалуй, рассердится да не станет ходить...»

– Что ж она? – спросил Александр.

– А ничего. Ведь вы знаете, она у меня такая живая – вскочит, запоёт да побежит или скажет: «Приедет, если захочет!» – такая резвушка! я и думаю – приедет. Смотришь, ещё день пройдёт – нет! Я опять: «Что это, Наденька, здоров ли Александр Федорыч!» – «Не знаю, говорит, татап, мне почём знать?» – «Пошлём-ка узнать, что с ним?» Пошлём да пошлём, да так вот и послали: я-то забыла, понадеялась на неё, а она у меня ветер. Вот теперь далась ей эта езда! увидела раз графа верхом из окна и пристала ко мне: «хочу ездить» да и только! Я туда, сюда, нет – «хочу!» Сумасшедшая! Нет, в моё время какая верховая езда! нас совсем не так воспитывали. А нынче, ужас сказать, дамы стали уж покуривать: вон, напротив

¹² «Шагреновая кожа» (*фр.*) // «Шагреновая кожа» (1831) – роман Оноре Бальзака (1799–1850).

нас молодая вдова живёт: сидит на балконе да соломинку целый день и курит; мимо ходят, ездят – ей и нужды нет! Бывало, у нас, если и от мужчины в гостиной пахнет табаком...

– Давно это началось? – спросил Александр.

– Да не знаю, говорят, лет с пять в моду вошло: ведь всё от французов...

– Нет-с, я спрашиваю: давно ли Надежда Александровна ездит верхом?

– Недели с полторы. Граф такой добрый, такой обходительный: чего, чего не делает для нас; как её балует! Смотрите, сколько цветов! всё из его саду. Иной раз совестно станет. «Что это, говорю, граф, вы её балуете? она совсем ни на что не похожа будет!..» – и её побраню. Мы с Марьей Ивановной да с Наденькой были у него в манеже: я ведь, вы знаете, сама за ней наблюдаю: уж кто лучше матери усмотрит за дочерью? я сама занималась воспитанием и не хвастаясь скажу: дай бог всякому такую дочь! Там при нас Наденька и училась. Потом завтракали у него в саду, да вот теперь каждый день и ездят. Что это, какой богатый у него дом! мы смотрели: всё так со вкусом, роскошно!

– Каждый день! – сказал Александр почти про себя.

– Да что ж не потешить! сама тоже молода была... бывало...

– И долго они ездят?

– Часа по три. Ну, а вы чем это заболели?

– Я не знаю... у меня что-то грудь болит... – сказал он, прижав руку к сердцу.

– Вы ничего не принимаете?

– Нет.

– Вот то-то молодые люди! всё ничего, всё до поры до времени, а там и спохватятся, как время уйдёт! Что ж вам, ломит, что ли, ноет или режет?

– И ломит, и ноет, и режет! – рассеянно сказал Александр.

– Это простуда; сохрани боже! не надо запускать, вы так уходите себя... может воспаление сделаться; и никаких лекарств! Знаете что? возьмите-ка опodelьдоку, да и трите на ночь грудь крепче, втирайте докрасна, а вместо чаю пейте траву, я вам рецепт дам.

Наденька воротилась бледная от усталости. Она бросилась на диван, едва переводя дух.

– Смотри-ка! – говорила, приложив ей руку к голове, Марья Михайловна, – как уходилась, насилу дышишь. Выпей воды да поди переоденься, распусти шнуровку. Уж не доведёт тебя эта езда до добра!

Александр и граф пробыли целый день. Граф был неизменно вежлив и внимателен к Александру, звал его к себе взглянуть на сад, приглашал разделить прогулку верхом, предлагал ему лошадь.

– Я не умею ездить, – холодно сказал Адуев.

– Вы не умеете? – спросила Наденька, – а как это весело! Мы опять завтра поедем, граф?

Граф поклонился.

– Полно тебе, Наденька, – заметила мать, – ты беспокоишь графа.

Ничто, однако ж, не показывало, чтобы между графом и Наденькою существовали особенные отношения. Он был одинаково любезен и с матерью и с дочерью, не искал случая говорить с одной Наденькой, не бежал за нею в сад, глядел на неё точно так же, как и на мать. Её свободное обращение с ним и прогулки верхом объяснялись, с её стороны, дикостью и неровностью характера, наивностью, может быть ещё недостатком воспитания, незнанием условий света; со стороны матери – слабостью и недальновидностью. Внимательность и услужливость графа и его ежедневные посещения можно было приписать соседству дач и радушному приёму, который он всегда находил у Любецких.

Дело, кажется, естественное, если глядеть на него простым глазом; но Александр смотрел в увеличительное стекло и видел многое... многое... чего простым глазом не усмотришь.

«Отчего, – спрашивал он себя, – переменилась к нему Наденька?» Она уж не ждёт его в саду, встречает не с улыбкой, а с испугом, одевается с некоторых пор гораздо тщательнее. Нет небрежности в обращении. Она осмотрительнее в поступках, как будто стала рассудительнее. Иногда у ней кроется в глазах и в словах что-то такое, что похоже на секрет... Где милые капризы, дикость, шалости, резвость? Всё пропало. Она стала серьёзна, задумчива, молчалива. Её как будто что-то мучит. Она теперь похожа на всех девиц: такая же притворщица, так же лжёт, так заботливо расспрашивает о здоровье... так постоянно внимательна, любезна по форме... к нему... к Александру! с кем... о боже! И сердце его замирало.

«Это недаром, недаром, – твердил он сам с собою, – тут что-то кроется! Но я узнаю, во что бы то ни стало, и тогда горе...

Не попущу, чтоб развратитель
Огнём и вздохов и похвал
Младое сердце искушал...
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелёк,
Чтобы двухутренний цветок
Увял, едва полураскрытый...»¹³

И в этот день, когда граф уже ушёл, Александр старался улучшить минуту, чтобы поговорить с Наденькой наедине. Чего он не делал? Взял книгу, которою она, бывало, вызывала его в сад от матери, показал ей и пошёл к берегу, думая: вот сейчас прибежит. Ждал, ждал – нейдёт. Он воротился в комнату. Она сама читала книгу и не взглянула на него. Он сел подле неё. Она не поднимала глаз, потом спросила бегло, мимоходом, занимается ли он литературой, не вышло ли чего-нибудь нового? О прошлом ни слова.

Он заговорил с матерью. Наденька ушла в сад. Мать вышла из комнаты, и Адуев бросился также в сад. Наденька, завидев его, встала со скамьи и пошла не навстречу ему, а по круговой аллее, тихонько к дому, как будто от него. Он ускорил шаги, и она тоже.

– Надежда Александровна! – закричал он издали, – мне хотелось бы сказать вам два слова.

– Пойдёмте в комнату: здесь сыро, – отвечала она.

Воротясь, она опять села подле матери. Александру чуть не сделалось дурно.

– И вы нынче боитесь сырости? – сказал он с колкостью.

– Да, теперь такие тёмные вечера, и холодные, – отвечала она, зевая.

– Скоро и переедем, – заметила мать. – Потрудитесь, Александр Федорыч, зайти на квартиру и напомнить хозяину, чтоб он переделал два замка у дверей да ставню в Наденькиной спальне. Он обещал – забудет, того гляди. Они все таковы: им лишь бы денежки взять.

Адуев стал прощаться.

– Смотрите же, ненадолго! – сказала Марья Михайловна.

Наденька молчала.

Он уж подошёл к дверям и обернулся к ней. Она сделала три шага к нему. Сердце у него встрепенулось.

«Наконец!» – подумал он.

– Вы будете к нам завтра? – спросила она холодно, но глаза её устремились на него с жадным любопытством.

– Не знаю; а что?

¹³ Не попущу, чтоб развратитель... – у Пушкина: «Не потерплю, чтоб развратитель...» («Евгений Онегин», гл. 6, строфы XV, XVI, XVII).

– Так, спрашиваю; будете ли?

– А вам бы хотелось?

– Будете вы завтра к нам? – повторила она тем же холодным тоном, но с бóльшим нетерпением.

– Нет! – отвечал он с досадой.

– А послезавтра?

– Нет; я не буду целую неделю, может быть две... долго!.. – И он устремил на неё испытующий взгляд, стараясь прочесть в её глазах, какое впечатление произведёт этот ответ.

Она молчала, но глаза её в одно мгновение с его ответом опустились вниз, и что было в них? отуманила ли их грусть, или блеснула в них молния радости, – ничего нельзя было прочесть на этом мраморном, прекрасном лице.

Александр стиснул шляпу в руке и пошёл вон.

– Не забудьте потереть грудь оподельдоком! – кричала вслед Марья Михайловна. И вот Александру опять задача – разбирать, к чему был сделан Наденькою вопрос? что в нём заключалось: желание или боязнь видеть его?

– О, какая мука! какая мука! – говорил он в отчаянии.

Не выдержал бедный Александр: приехал на третий день. Наденька была у решётки сада, когда он подъезжал. Он уж было обрадовался, но только что он стал приближаться к берегу, она, как будто не видя его, повернулась и, сделав несколько косвенных шагов по дорожке, точно гуляет без цели, пошла домой.

Он застал её с матерью. Там было человека два из города, соседка Марья Ивановна и неизбежный граф. Мучения Александра были невыносимы. Опять прошёл целый день в пустых, ничтожных разговорах. Как надоели ему гости! Они говорили покойно о всяком вздоре, рассуждали, шутили, смеялись.

«Смеются! – говорил Александр, – они могут смеяться, когда... Наденька... переменялась ко мне! Им это ничего! Жалкие, пустые люди: всему радуются!»

Наденька ушла в сад; граф не пошёл с ней. С некоторого времени и он и Наденька как будто избегали друг друга при Александре. Он иногда застанет их в саду или в комнате одних, но потом они разойдутся и при нём уже не сходятся более. Новое, страшное открытие для Александра: знак, что они в заговоре.

Гости разошлись. Ушёл и граф. Наденька этого не знала и не спешила домой. Адуев без церемонии ушёл от Марьи Михайловны в сад. Наденька стояла спиной к Александру, держась рукой за решётку и опершись головой на руку, как в тот незабвенный вечер... Она не видала и не слышала его прихода.

Как билось у него сердце, когда он крался к ней на цыпочках. Дыхание у него замерло.

– Надежда Александровна! – едва слышно проговорил он в волнении.

Она вздрогнула, как будто подле неё выстрелили, обернулась и отступила от него на шаг.

– Скажите, пожалуйста, что это там за дым? – заговорила она в смущении, с живостью указывая на противоположную сторону реки, – пожар, что ли, или печка такая... на заводе?..

Он молча глядел на неё.

– Право, я думала – пожар... Что вы так смотрите на меня, не верите?..

Она замолчала.

– И вы, – начал он, качая головой, – и вы, как другие, как все!.. Кто бы ожидал этого... месяца два назад?..

– Что вы? я вас не понимаю, – сказала она и хотела идти.

– Постойте, Надежда Александровна, я не в силах долее сносить этой пытки.

– Какой пытки? я, право, не знаю...

– Не притворяйтесь, скажите, вы ли это? те же ли вы, какие были?

- Я всё та же! – сказала она решительно.
- Как! вы не переменялись ко мне?
- Нет: я, кажется, так же ласкова с вами, так же весело встречаю вас...
- Так же весело! а зачем бежите от решётки?..
- Я бегу? смотрите, что выдумали: я стою у решётки, а вы говорите – бегу. Она принуждённо засмеялась.
- Надежда Александровна, оставьте лукавство! – продолжал Адуев.
- Какое лукавство? что вы пристали ко мне?
- Вы ли это? Боже мой! полтора месяца тому назад, ещё здесь...
- Что это за дым такой на той стороне, хотела бы я знать?..
- Ужасно! ужасно! – говорил Александр.
- Да что я вам сделала? Вы перестали к нам ездить – как хотите... удерживать против воли... – начала Наденька.
- Притворяетесь! будто вы не знаете, зачем я перестал ездить?
- Она, глядя в сторону, покачала головой.
- А граф? – сказал он почти грозно.
- Какой граф?
- Она сделала мину, как будто в первый раз слышит о графе.
- Какой! скажите ещё, – говорил он, глядя ей прямо в глаза, – что вы равнодушны к нему?
- Вы с ума сошли! – отвечала она, отступая от него.
- Да, вы не ошиблись! – продолжал он, – рассудок мой угасает с каждым днём... Можно ли так коварно, неблагодарно поступить с человеком, который любил вас больше всего на свете, который всё забыл для вас, всё... думал скоро быть счастливым навсегда, а вы...
- Что я? – говорила она, отступив ещё.
- Что вы? – отвечал он, взбешённый этим хладнокровием. – Вы забыли! я напомню вам, что здесь, на этом самом месте, вы сто раз клялись принадлежать мне: «Эти клятвы слышит бог!» – говорили вы. Да, он слышал их! вы должны краснеть и перед небом и перед этими деревьями, перед каждой травкой... всё свидетель нашего счастья: каждая песчинка говорит здесь о нашей любви: смотрите, оглянитесь около себя!.. вы клятвопреступница!!!
- Она с ужасом смотрела на него. Глаза его сверкали, губы побелели.
- У! какие злые! – сказала она робко, – за что вы сердитесь? я вам не отказывала, вы ещё не говорили с татап... почему же вы знаете...
- Говорить после этих поступков?..
- Каких поступков? я не знаю...
- Каких? сейчас скажу: что значат эти свидания с графом, эти прогулки верхом?
- Не бежать же мне от него, когда татап выйдет из комнаты! а езда верхом значит... что я люблю ездить... так приятно: скачешь... ах, какая миленькая эта лошадка Люси! вы видели?.. она уж знает меня...
- А перемена в обращении со мной?.. – продолжал он, – зачем граф у вас каждый день, с утра до вечера?
- Ах, боже мой! я почём знаю! какие вы смешные! татап так хочет.
- Неправда! татап хочет то, что вы хотите. Кому эти все подарки, ноты, альбомы, цветы? всё татап?
- Да, татап очень любит цветы. Вчера ещё она купила у садовника...
- А о чём вы с ним говорите вполголоса? – продолжал Александр, не обращая внимания на её слова, – посмотрите, вы бледнеете, вы сами чувствуете свою вину. Разрушить счастье человека, забыть, уничтожить всё так скоро, легко: лицемерие, неблагодарность, ложь, измена!.. да, измена!.. как могли вы допустить себя до этого? Богатый граф, лев, достоин

кинуть на вас благосклонный взгляд – и вы растаяли, пали ниц перед этим мишурным солнцем; где стыд!!! Чтоб графа не было здесь! – говорил он задыхающимся голосом, – слышите ли? оставьте, прекратите с ним все сношения, чтоб он забыл дорогу в ваш дом!.. я не хочу...

Он с бешенством схватил её за руку.

– Матап, матап! сюда! – пронзительным голосом закричала Наденька, вырываясь от Александра, и, вырвавшись, опрометью бросилась бежать домой.

Он сел на скамью и схватился руками за голову.

Она прибежала в комнату бледная, испуганная и упала на стул.

– Что ты? что с тобой? что ты кричишь? – спросила встревоженная мать, идя ей навстречу.

– Александр Федорыч... нездоров! – едва могла проговорить она.

– Так что ж так пугаться?

– Он такой страшный... матап, не пускайте его, ради бога, ко мне.

– Как ты меня перепугала, сумасшедшая! Ну что ж, что нездоров? я знаю, у него грудь болит. Что тут страшного? не чахотка! потрёт оподельдоком – всё пройдет: видно, не послушался, не потёр.

Александр опомнился. Горячка прошла, но мука его удвоилась. Сомнений он не прояснил, а перепугал Наденьку и теперь, конечно, не добьётся от неё ответа: не так взялся за дело. Ему, как всякому влюблённому, вдруг пришло в голову и то: «Ну, если она не виновата? может быть, в самом деле она равнодушна к графу. Бестолковая мать приглашает его каждый день: что же ей делать? Он, как светский человек, любезен; Наденька – хорошенькая девушка: может быть, он и хочет нравиться ей, да ведь это ещё не значит, что уж и понравился. Ей, может быть, нравятся цветы, верховая езда, невинные развлечения, а не сам граф? Да положим даже, что тут есть немного и кокетства: разве это не простительно? другие и старше, да бог знает что делают».

Он отдохнул, луч радости блеснул в душе. Влюблённые все таковы: то очень слепы, то слишком прозорливы. Притом же так приятно оправдать любимый предмет!

«А отчего же перемена в обращении со мной? – вдруг спрашивал он себя и снова бледнел. – Зачем она убегает меня, молчит, будто стыдится? зачем вчера, в простой день, оделась так нарядно? гостей, кроме его, не было. Зачем спросила, скоро ли начнутся балеты?» Вопрос простой; но он вспомнил, что граф вскользь обещал доставать всегда ложу, несмотря ни на какие трудности: следовательно, он будет с ними. «Зачем вчера ушла из сада? зачем не пришла в сад? зачем спрашивала то, зачем не спрашивала...»

И снова впал он в тяжкие сомнения и снова жестоко мучился и дошёл до заключения, что Наденька даже никогда его и не любила.

«Боже, боже! – говорил он в отчаянье, – как тяжело, как горько жить! Дай мне это мёртвое спокойствие, этот сон души...»

Через четверть часа он пришёл в комнату унылый, боязливый.

– Прощайте, Надежда Александровна, – сказал он робко.

– Прощайте, – отвечала она отрывисто, не поднимая глаз.

– Когда позволите мне прийти?

– Когда вам угодно. Впрочем... мы на той неделе переезжаем в город: мы вам дадим знать тогда...

Он уехал. Прошло более двух недель. Все уже переехали с дач. Аристократические салоны засияли снова. И чиновник засветил две стенные лампы в гостиной, купил полпуда стеариновых свеч, расставил два карточные стола, в ожидании Степана Иваныча и Ивана Степаныча, и объявил жене, что у них будут вторники.

А Адуев всё не получал от Любецких приглашения. Он встретил и повара их, и горничную. Горничная, завидя его, бросилась бежать прочь: видно было, что она действовала в духе барышни. Повар остановился.

– Что это вы, сударь, забыли нас? – сказал он, – а мы уж недели полторы как переехали.

– Да, может быть, вы... не разобрались, не принимаете?

– Какое, сударь, не принимаем: уж все перебивали, только вас нет; барыня не надидется. Вот его сиятельство так каждый день изволит жаловать... такой добрый барин. Я наперед ходил к нему с какой-то тетрадкой от барышни – красненькую пожаловал.

– Какой же ты дурак! – сказал Адуев и бросился бежать от болтуна. Он прошёл вечером мимо квартиры Любецких. Светло. У подъезда карета.

– Чья карета? – спросил он.

– Графа Новинского.

На другой, на третий день то же. Наконец однажды он вошёл. Мать приняла его радушно, с упрёками за отсутствие, побранила, что не трёт грудь оподельдоком; Наденька – покойно, граф – вежливо. Разговор не вязался.

Так был он раза два. Напрасно он выразительно глядел на Наденьку; она как будто не замечала его взглядов, а прежде как замечала! бывало, он говорит с матерью, а она станет напротив него, сзади Марьи Михайловны, делает ему гримасы, шалит и смешит его.

Им овладела невыносимая тоска. Он думал о том только, как бы свергнуть с себя этот добровольно взятый крест. Ему хотелось добиться объяснения. «Какой бы ни был ответ, – думал он, – всё равно, лишь бы превратить сомнение в известность».

Долго обдумывал он, как приняться за дело, наконец выдумал что-то и пошёл к Любецким.

Всё благоприятствовало ему. Кареты у подъезда не было. Тихо прошёл он залу и на минуту остановился перед дверями гостиной, чтобы перевести дух. Там Наденька играла на фортепиано. Дальше через комнату сама Любецкая сидела на диване и вязала шарф. Наденька, услышавши шаги в зале, продолжала играть тише и вытянула головку вперёд. Она с улыбкой ожидала появления гостя. Гость появился, и улыбка мгновенно исчезла; место её заменил испуг. Она немного изменилась в лице и встала со стула. Не этого гостя ожидала она.

Александр молча поклонился и, как тень, прошёл дальше, к матери. Он шёл тихо, без прежней уверенности, с поникшей головой. Наденька села и продолжала играть, озираясь по временам беспокойно назад.

Через полчаса мать зачем-то вызвали из комнаты. Александр пришёл к Наденьке. Она встала и хотела идти.

– Надежда Александровна! – сказал он уныло, – подождите, уделите мне пять минут, не более.

– Я не могу слушать вас! – сказала она и пошла было прочь, – в последний раз вы были...

– Я был виноват тогда. Теперь буду говорить иначе, даю вам слово: вы не услышите ни одного упрёка. Не отказывайте мне, может быть, в последний раз. Объяснение необходимо: ведь вы мне позволили просить у маменьки вашей руки. После того случилось много такого... что... словом – мне надо повторить вопрос. Сядьте и продолжайте играть: маменька лучше не услышит; ведь это не в первый раз...

Она машинально повиновалась: слегка краснея, начала брать аккорды и в тревожном ожидании устремила на него взгляд.

– Куда же вы ушли, Александр Федорыч? – спросила мать, воротясь на своё место.

– Я хотел поговорить с Надеждой Александровной о... литературе, – отвечал он.

– Ну, поговорите, поговорите: в самом деле, давно вы не говорили.

– Отвечайте мне коротко и искренно на один только вопрос, – начал он вполголоса, – и наше объяснение сейчас кончится... Вы меня не любите более?

– *Quelle idee!*¹⁴ – отвечала она, смутившись, – вы знаете, как тапан и я ценили всегда вашу дружбу... как были всегда рады вам...

Адуев посмотрел на неё и подумал: «Ты ли это, капризное, но искреннее дитя? эта шалунья, резвушка? Как скоро выучилась она притворяться? как быстро развились в ней женские инстинкты! Ужели милые капризы были зародышами лицемерия, хитрости?.. вот и без дядиной методы, а как проворно эта девушка образовалась в женщину! и всё в школе графа, и в какие-нибудь два, три месяца! О дядя, дядя! и в этом ты беспощадно прав!»

– Послушайте, – сказал он таким голосом, что маска вдруг слетела с притворщицы, – оставим маменьку в стороне: сделайте на минуту прежней Наденькой, когда вы немножко любили меня... и отвечайте прямо: мне это нужно знать, ей-богу, нужно.

Она молчала, только переменяла ноты и стала пристально рассматривать и разыгрывать какой-то трудный пассаж.

– Ну, хорошо, я изменю вопрос, – продолжал Адуев, – скажите, не заменил ли – не назову даже кто – просто, не заменил ли кто-нибудь меня в вашем сердце?..

Она сняла со свечки и долго поправляла светильню, но молчала.

– Отвечайте же, Надежда Александровна: одно слово избавит меня от муки, вас – от неприятного объяснения.

– Ах, боже мой, перестаньте! что я вам скажу? мне нечего сказать! – отвечала она, отворачиваясь от него.

Другой удовольствовался бы таким ответом и увидел бы, что ему не о чём больше хлопотать. Он понял бы всё из этой безмолвной, мучительной тоски, написанной и на лице её, проглядывавшей и в движениях. Но Адуеву было недовольно. Он, как палач, пытал свою жертву и сам был одушевлён каким-то диким, отчаянным желанием выпить чашу разом и до конца.

– Нет! – говорил он, – кончите эту пытку сегодня; сомнения, одно другого чернее, волнуют мой ум, рвут на части сердце. Я измучился; я думаю, у меня лопнет грудь от напряжения... мне нечем увериться в своих подозрениях; вы должны решить всё сами; иначе я никогда не успокоюсь.

Он смотрел на неё и ждал ответа. Она молчала.

– Сжальтесь надо мной! – начал он опять, – посмотрите на меня: похож ли я на себя? все пугаются меня, не узнают... все жалеют, вы одни только...

Точно: глаза его горели диким блеском. Он был худ, бледен, на лбу выступил крупный пот.

Она украдкой бросила на него взгляд, и во взгляде мелькнуло что-то похожее на сожаление. Она взяла его даже за руку, но тотчас же оставила её со вздохом и всё молчала.

– Что же? – спросил он.

– Ах, оставьте меня в покое! – сказала она с тоской, – вы мучите меня вопросами...

– Умоляю вас, ради бога! – говорил он, – кончите всё одним словом... К чему послужит вам скрытность? У меня останется глупая надежда, я не отстану, я буду ежедневно являться к вам бледный, расстроенный... Я наведу на вас тоску. Откажете от дому – стану бродить под окнами, встречаться с вами в театре, на улице, всюду, как привидение, как *memento mori*¹⁵. Всё это глупо, может быть смешно, кому до смеху, – но мне больно! Вы не знаете, что такое страсть, до чего она доводит! дай бог вам и не узнать никогда!.. Что ж пользы? не лучше ли сказать вдруг?

¹⁴ Что за мысль! (*фр.*)

¹⁵ Напоминание о смерти (*лат.*)

– Да о чём вы меня спрашиваете? – сказала Наденька, откинувшись на спинку кресла. – Я совсем растерялась... у меня голова точно в тумане...

Она судорожно прижала руку ко лбу и тотчас же отняла.

– Я спрашиваю: заменил ли меня кто-нибудь в вашем сердце? Одно слово – *да* или *нет* – решит всё; долго ли сказать!

Она хотела что-то сказать, но не могла и, потупив глаза, начала ударять пальцем по одному клавишу. Видно было, что она сильно боролась сама с собой. «Ах!» – произнесла она, наконец, с тоской. Адуев отёр платком лоб.

– Да или нет? – повторил он, притаив дыхание.

Прошло несколько секунд.

– Да или нет!

– Да! – прошептала Наденька чуть слышно, потом совсем наклонилась к фортепиано и, как будто в забытьи, начала брать сильные аккорды.

Это *да* раздалось едва внятно, как вздох, но оно оглушило Адуева; сердце у него будто оторвалось, ноги подкосились под ним. Он опустился на стул подле фортепиано и молчал.

Наденька боязливо взглянула на него. Он смотрел на неё бессмысленно.

– Александр Федорыч! – закричала вдруг мать из своей комнаты, – в котором ухе звенит?

Он молчал.

– Матап вас спрашивает, – сказала Наденька.

– А?

– В котором ухе звенит? – кричала мать, – да поскорее!

– В обоих! – мрачно произнёс Адуев.

– Экие какие, в левом! А я загадала, будет ли граф сегодня.

– Граф! – произнёс Адуев.

– Простите меня! – сказала Наденька умоляющим голосом, бросившись к нему, – я сама себя не понимаю... Это всё сделалось нечаянно, против моей воли... не знаю как... я не могла вас обманывать...

– Я сдержу своё слово, Надежда Александровна, – отвечал он, – не сделаю вам ни одного упрёка. Благодарю вас за искренность... вы много, много сделали... сегодня... мне трудно было слышать это *да*... но вам ещё труднее было сказать его... Прощайте; вы более не увидите меня: одна награда за вашу искренность... но граф, граф!

Он стиснул зубы и пошёл к дверям.

– Да, – сказал он, воротясь, – к чему это вас поведёт? Граф на вас не женится: какие у него намерения?..

– Не знаю! – отвечала Наденька, печально качая головой.

– Боже! как вы ослеплены! – с ужасом воскликнул Александр.

– У него не может быть дурных намерений... – отвечала она слабым голосом.

– Берегитесь, Надежда Александровна!

Он взял её руку, поцеловал её и неровными шагами вышел из комнаты. На него страшно было смотреть. Наденька осталась неподвижна на своём месте.

– Что ж ты не играешь, Наденька? – спросила мать через несколько минут.

Наденька очнулась как будто от тяжёлого сна и вздохнула.

– Сейчас, матап! – отвечала она и, задумчиво склонив голову немного на сторону, робко начала перебирать клавиши. Пальцы у неё дрожали. Она, видимо, страдала от угрызений совести и от сомнения, брошенного в неё словом: «Берегитесь!» Когда приехал граф, она была молчалива, скучна; в манерах её было что-то принуждённое. Она под предлогом головной боли рано ушла в свою комнату. И ей в этот вечер казалось горько жить на свете.

Адуев только что спустился с лестницы, как силы изменили ему: он сел на последней ступени, закрыл глаза платком и вдруг начал рыдать громко, но без слёз. В это время мимо сеней проходил дворник. Он остановился и послушал.

– Марфа, а Марфа! – закричал он, подошедши к своей засаленной двери, – подь-ка сюда, послушай, как тут кто-то ревёт, словно зверь. Я думал, не арапка ли наша сорвалась с цепи, да нет, это не арапка.

– Нет, это не арапка! – повторила, вслушиваясь, Марфа. – Что за диковина?

– Поди-ка принеси фонарик: там, за печкой висит.

Марфа принесла фонарик.

– Всё ревёт? – спросила она.

– Ревёт! Уж не мошенник ли какой забрался?

– Кто тут? – спросил дворник.

Нет ответа.

– Кто тут? – повторила Марфа.

Всё тот же рёв. Они вошли оба вдруг. Адуев бросился вон.

– Ах, да это барин какой-то, – сказала Марфа, глядя ему вслед, – а ты выдумал: мошенник! Вишь, ведь хватило ума сказать! Станет мошенник реветь в чужих сенях!

– Ну, так, видно, хмелен!

– Ещё лучше! – отвечала Марфа, – ты думаешь, все в тебя? не все же пьяные ревут, как ты.

– Так что ж он, с голоду, что ли? – с досадой заметил дворник.

– Что! – говорила Марфа, глядя на него и не зная, что сказать, – почём знать, может, обронил что-нибудь – деньги...

Они оба вдруг присели и начали с фонариком шарить по полу во всех углах.

– Обронил! – ворчал дворник, освещая пол, – где тут обронить? лестница чистая, каменная, тут и иголку увидишь... обронил! Оно бы слышно было, кабы обронил: звякнет об камень; чай, поднял бы! где тут обронить? нигде! обронил! как не обронил: таковский, чтоб обронил! того и гляди – обронит! нет: этакой, небось, сам норovit как бы в карман положить! а то обронит! знаем мы их, мазуриков! вот и обронил! где он обронил?

И долго ещё ползали они по полу, ища потерянных денег.

– Нет, нету! – сказал, наконец, дворник со вздохом, потом задул свечку и, сжав двумя пальцами светильню, отёр их о тулуп.

VI

В этот же вечер, часов в двенадцать, когда Пётр Иваныч, со свечой и книгой в одной руке, а другой придерживая полу халата, шёл из кабинета в спальню ложиться спать, камердинер доложил ему, что Александр Федорыч желает с ним видеться.

Пётр Иваныч сдвинул брови, подумал немного, потом покойно сказал:

– Проси в кабинет, я сейчас приду.

– Здравствуй, Александр, – приветствовал он, воротясь туда, племянника, – давно мы с тобой не видались. То днём тебя не дождёшься, а тут вдруг – бац ночью! Что так поздно? Да что с тобой? на тебе лица нет.

Александр, не отвечая ни слова, сел в кресла в крайнем изнеможении. Пётр Иваныч смотрел на него с любопытством.

Александр вздохнул.

– Здоров ли ты? – спросил Пётр Иваныч заботливо.

– Да, – отвечал Александр слабым голосом, – двигаюсь, ем, пью, следовательно здоров.

– Ты не шути однако: посоветуйся с доктором.

– Мне уж советовали и другие, но никакие доктора и оподельдоки не помогут: мой недуг не физический...

– Что же с тобой? Не проигрался ли ты, или не потерял ли деньги? – с живостью спросил Пётр Иванович.

– Вы никак не можете представить себе безденежного горя! – отвечал Александр, стараясь улыбнуться.

– Что ж за горе, если оно медного гроша не стоит, как иногда твоё?..

– Да, вот как, например, теперь. Вы знаете ли моё настоящее горе?

– Какое горе? Дома у тебя всё обстоит благополучно: это я знаю из писем, которыми матушка твоя угощает меня ежемесячно; в службе уж ничего не может быть хуже того, что было; подчинённого на шею посадили: это последнее дело. Ты говоришь, что ты здоров, денег не потерял, не проиграл... вот что важно, а с прочим со всем легко справиться; там следует вздор, любовь, я думаю...

– Да, любовь; но знаете ли, что случилось? когда узнаете, так, может быть, перестанете так легко рассуждать, а ужаснётесь...

– Расскажи-ка; давно я не ужасался, – сказал дядя, садясь, – а впрочем, не мудрено и угадать: вероятно, надули...

Александр вскочил, хотел что-то сказать, но ничего не сказал и сел на своё место.

– Что, правда? видишь: ведь я говорил, а ты: «Нет, как можно!»

– Можно ли было предчувствовать?.. – сказал Александр, – после всего...

– Надо было не предчувствовать, а предвидеть, то есть знать – это вернее – да и действовать так.

– Вы так покойно можете рассуждать, дядюшка, когда я... – сказал Александр.

– Да мне-то что?

– Я и забыл: вам хоть весь город сгори или провались – всё равно!

– Слуга покорный! а завод?

– Вы шутите, а я страдаю, не шутя; мне тяжело, я точно болен.

– Да неужели ты от любви так похудел? Какой срам! Нет: ты был болен, а теперь начинаешь выздоравливать, да и пора! шутка ли, года полтора тянется глупость. Ещё немного, так, пожалуй, и я бы поверил неизменной и вечной любви.

– Дядюшка! – сказал Александр, – пощадите меня: теперь ад в моей душе...

– Да! так что же?

Александр подвинул свои кресла к столу, а дядя начал отодвигать от племянника чернильницу, *presse-papier* и прочее.

«Пришёл ночью, – подумал он, – в душе ад... непременно опять разобьёт что-нибудь».

– Утешения я у вас не найду, да и не требую, – начал Александр, – я прошу вашей помощи как у дяди, как у родственника... Я кажусь вам глуп – не правда ли?

– Да, если б ты не был жалок.

– Так вам жаль меня?

– Очень. Разве я дерево? Малый добрый, умный, порядочно воспитанный, а пропадает ни за копейку – и отчего? от пустяков!

– Докажите же, что вам жаль меня.

– Чем же? Денег, ты говоришь, не нужно...

– Денег, денег! о, если б моё несчастье было только в безденежье, я бы благословил свою судьбу!

– Не говори этого, – серьёзно заметил Пётр Иванович, – ты молод – проклянёшь, а не благословишь судьбу! Я, бывало, не раз проклинал – я!

– Выслушайте же меня терпеливо...

– Ты долго пробудешь, Александр? – спросил дядя.

– Да, мне нужно всё ваше внимание; а что?

– Так вот видишь ли: мне хочется поужинать. Я было собрался спать без ужина, а теперь, если просидим долго, так поужинаем, да выпьем бутылку вина, а между тем ты мне всё расскажешь.

– Вы можете ужинать? – спросил Александр с удивлением.

– Да, и очень могу; а ты разве не станешь?

– Я – ужинать! да и вы не проглотите куска, когда узнаете, что дело идёт о жизни и смерти.

– О жизни и смерти?.. – повторил дядя, – да, это, конечно, очень важно, а впрочем – попробуем, авось проглотим.

Он позвонил.

– Спроси, – сказал он вошедшему камердинеру, – что там есть поужинать, да вели достать бутылку лафиту, за зелёной печатью.

Камердинер ушёл.

– Дядюшка! вы не в таком расположении духа, чтоб слушать печальную повесть моего горя, – сказал Александр, взявши шляпу, – я лучше приду завтра...

– Нет, нет, ничего, – живо заговорил Пётр Иваныч, удерживая племянника за руку, – я всегда в одном расположении духа. Завтра, того гляди, тоже застанешь за завтраком или ещё хуже – за делом. Лучше уж кончим разом. Ужин не портит дела. Я ещё лучше выслушаю и пойму. На голодный желудок, знаешь, оно неловко...

Принесли ужин.

– Что же, Александр, давай... – сказал Пётр Иваныч.

– Да я не хочу, дядюшка, есть! – сказал с нетерпением Александр и пожал плечами, глядя, как дядя хлопотал над ужином.

– По крайней мере хоть выпей рюмку вина: вино недурно!

Александр потряс отрицательно головой.

– Ну, так возьми сигару да рассказывай, а я буду слушать обоими ушами, – сказал Пётр Иваныч и живо принялся есть.

– Вы знаете графа Новинского? – спросил Александр, помолчав.

– Графа Платона?

– Да.

– Приятели; а что?

– Поздравляю вас с таким приятелем – подлец!

Пётр Иваныч вдруг перестал жевать и с удивлением посмотрел на племянника.

– Вот тебе на! – сказал он, – а ты разве знаешь его?

– Очень хорошо.

– Давно ли?

– Месяца три.

– Как же так? Я лет пять его знаю и всё считал порядочным человеком, да и от кого ни поспышишь – все хвалят, а ты вдруг так уничтожил его.

– Давно ли вы стали защищать людей, дядюшка? а прежде, бывало...

– Я и прежде защищал порядочных людей. А ты давно ли стал бранить их, перестал называть ангелами?

– Пока не знал, а теперь... о люди, люди! *жалкий род, достойный слёз и смеха!*¹⁶ Сознаюсь, кругом виноват, что не слушал вас, когда вы советовали остерегаться всякого...

– И теперь посоветую; остерегаться не мешает: если окажется негодяй – не обманешься, а порядочный человек – приятно ошибёшься.

¹⁶ ...жалкий род, достойный слёз и смеха – из стихотворения А.С. Пушкина «Полководец».

– Укажите, где порядочные люди? – говорил Александр с презрением.
– Вот хоть мы с тобой – чем не порядочные? Граф, если уж о нём зашла речь, тоже порядочный человек; да мало ли? У всех есть что-нибудь дурное... а не всё дурно и не все дурны.

– Все, все! – решительно сказал Александр.

– А ты?

– Я? я, по крайней мере, унесу из толпы разбитое, но чистое от низостей сердце, душу растерзанную, но без упрёка во лжи, в притворстве, в измене, не заражусь...

– Ну, хорошо, посмотрим. Что же сделал тебе граф?

– Что сделал? похитил всё у меня.

– Говори определительнее. Под словом *всё* можно разуть бог знает что, пожалуй, деньги: он этого не сделает...

– То, что для меня дороже всех сокровищ в мире, – сказал Александр.

– Что ж бы это такое было?

– Всё – счастье, жизнь.

– Ведь ты жив!

– К сожалению – да! Но эта жизнь хуже ста смертей.

– Скажи же прямо, что случилось?

– Ужасно! – воскликнул Александр. – Боже! боже!

– Э! да не отбил ли он у тебя твою красавицу, эту... как её? да! он мастер на это: тебе трудно тягаться с ним. Повеса! повеса! – сказал Пётр Иваныч, положив в рот кусок индейки.

– Он дорого заплатит за своё мастерство! – сказал Александр, вспыхнув, – я не уступлю без спора... Смерть решит, кому из нас владеть Наденькой. Я истреблю этого пошлого волокиту! не жить ему, не наслаждаться похищенным сокровищем... Я сотру его с лица земли!..

Пётр Иваныч засмеялся.

– Провинция! – сказал он, – а *propos*¹⁷ о графе, Александр, – он не говорил, привезли ли ему из-за границы фарфор? Он весной выписывал партию: хотелось бы взглянуть...

– Не о фарфоре речь, дядюшка; вы слышали, что я сказал? – грозно перебил Александр.

– Мм-м! – промычал утвердительно дядя, обгладывая косточку.

– Что же вы скажете?

– Да ничего. Я слушаю, что ты говоришь.

– Выслушайте хоть раз в жизни внимательно: я пришёл за делом, я хочу успокоиться, разрешить миллион мучительных вопросов, которые волнуют меня... я растерялся... не помню сам себя, помогите мне...

– Изволь, я к твоим услугам; скажи только, что нужно... я даже готов деньгами... если только не на пустяки...

– Пустяки! нет, не пустяки, когда, может быть, через несколько часов меня не станет на свете, или я сделаюсь убийцей... а вы смеётесь, хладнокровно ужинаете.

– Прошу покорно! сам, я думаю, наужинался, а другой не ужинай!

– Я двое суток не знаю, что такое есть.

– О, это в самом деле что-нибудь важное?

– Скажите одно слово: окажете ли вы мне величайшую услугу?

– Какую?

– Согласитесь ли вы быть моим свидетелем?..

– Котлеты совсем холодные! – заметил Пётр Иваныч с неудовольствием, отодвигая от себя блюдо.

– Вы смеётесь, дядюшка?

¹⁷ Кстати (*фр.*)

– Сам посуди, как слушать серьёзно такой вздор: зовёт в секунданты!

– Что же вы?

– Разумеется, что: не пойду.

– Хорошо; найдётся другой, посторонний, кто примет участие в моей горькой обиде.

Вы только возьмите на себя труд поговорить с графом, узнать условия...

– Не могу: у меня язык не поворотится предложить ему такую глупость.

– Так прощайте! – сказал Александр, взяв шляпу.

– Что! уж ты идёшь? вина не хочешь выпить?..

Александр пошёл было к дверям, но у дверей сел на стул в величайшем унынии.

– К кому пойти, в ком искать участия?.. – сказал он тихо.

– Послушай, Александр! – начал Пётр Иванович, отирая салфеткой рот и подвигая к племяннику кресло, – я вижу, что с тобой точно надо поговорить не шутя. Поговорим же. Ты пришёл ко мне за помощью: я помогу тебе, только иначе, нежели как ты думаешь, и с уговором – слушаться. Не зови никого в свидетели: проку не будет. Из пустяков сделаешь историю, она разнесётся везде, тебя осмеют или, ещё хуже, сделают неприятность. Никто не пойдёт, а если наконец найдётся какой-нибудь сумасшедший, так всё напрасно: граф не станет драться; я его знаю.

– Не станет! так в нём нет ни капли благородства! – с злостью заметил Александр, – я не полагаю, чтоб он был низок до такой степени!

– Он не низок, а только умён.

– Так, по вашему мнению, я глуп?

– Н... нет, влюблён, – сказал Пётр Иванович с расстановкой.

– Если вы, дядюшка, намерены объяснять мне бессмысленность дуэли как предрас-судка, то я предупреждаю вас – это напрасный труд: я останусь твёрд.

– Нет: это уж давно доказано, что драться – глупость вообще; да все дерутся; мало ли ослов? их не вразумишь. Я хочу только доказать, что тебе именно драться не следует.

– Любопытно, как вы убедите меня.

– Вот послушай. Скажи-ка, ты на кого особенно сердит: на графа или на неё... как её... Анята, что ли?

– Я его ненавижу, её презираю, – сказал Александр.

– Начнём с графа: положим, он примет твой вызов, положим даже, что ты найдёшь дурака свидетеля – что ж из этого? Граф убьёт тебя, как муху, а после над тобой же все будут смеяться; хорошо мщение! А ты ведь не этого хочешь: тебе бы вон хотелось истребить графа.

– Неизвестно, кто кого убьёт, – сказал Александр.

– Наверное он тебя. Ты ведь, кажется, вовсе стрелять не умеешь, а по правилам первый выстрел – его.

– Тут решит божий суд.

– Ну, так воля твоя, – он решит в его пользу. Граф, говорят, в пятнадцати шагах пулю в пулю так и сажает, а для тебя, как нарочно, и промахнётся! Положим даже, что суд божий и попустил бы такую неловкость и несправедливость: ты бы как-нибудь ненарочно и убил его – что ж толку? разве ты этим воротил бы любовь красавицы? Нет, она бы тебя возненавидела, да притом тебя бы отдали в солдаты... А главное, ты бы на другой же день стал рвать на себе волосы с отчаяния и тотчас охладел бы к своей возлюбленной...

Александр презрительно пожал плечами.

– Вы так ловко рассуждаете об этом, дядюшка, – сказал он, – рассудите же, что мне делать в моём положении?

– Ничего! оставить дело так: оно уже испорчено.

– Оставить счастье в его руках, оставить его гордым обладателем... о! может ли остановить меня какая-нибудь угроза? Вы не знаете моих мучений! вы не любили никогда, если думали помешать мне этой холодной моралью... в ваших жилах течёт молоко, а не кровь...

– Полно дичь пороть, Александр! мало ли на свете таких, как твоя – Марья или Софья, что ли, как её?

– Её зовут Надеждой.

– Надежда? а какая же Софья?

– Софья... это в деревне, – сказал Александр нехотя.

– Видишь ли? – продолжал дядя, – там Софья, тут Надежда, в другом месте Марья.

Сердце – преглубокий колодезь: долго не дощупаешься дна. Оно любит до старости...

– Нет, сердце любит однажды...

– И ты повторяешь слышанное от других! Сердце любит до тех пор, пока не истратит своих сил. Оно живёт своею жизнью и так же, как и всё в человеке, имеет свою молодость и старость. Не удалась одна любовь, оно только замирает, молчит до другой; в другой помешали, разлучили – способность любить опять останется неупотребленной до третьего, до четвертого раза, до тех пор, пока, наконец, сердце не положит всех сил своих в одной какой-нибудь счастливой встрече, где ничто не мешает, а потом медленно и постепенно охладает. Иным любовь удалась с первого раза, вот они и кричат, что можно любить только однажды. Пока человек не стар, здоров...

– Вы всё, дядюшка, говорите о молодости, следовательно о материальной любви...

– О молодости говорю, потому что старческая любовь есть ошибка, уродливость. И что за материальная любовь? Такой любви нет, или это не любовь, так точно, как нет одной идеальной. В любви равно участвуют и душа и тело; в противном случае любовь неполна: мы не духи и не звери. Сам же говоришь: «Течёт в жилах молоко, а не кровь». Ну, так вот видишь ли: с одной стороны, возьми кровь в жилах – это материальное, с другой – самолюбие, привычку – это духовное; вот тебе и любовь! На чём я остановился... да! в солдаты; кроме того, после этой истории красавица тебя на глаза к себе не пустит. Ты по-пустому повредил бы и ей, и себе – видишь ли? Надеюсь, этот вопрос мы с одной стороны обработали окончательно. Теперь...

Пётр Иваныч налил себе вина и выпил.

– Экой болван! – сказал он, – подал холодный лафит.

Александр смолчал, поникнув головой.

– Теперь скажи, – продолжал дядя, грея стакан с вином в обеих руках, – за что ты хотел стереть графа с лица земли?

– Я уж сказал вам за что! не он ли уничтожил моё блаженство? Он, как дикий зверь, ворвался...

– В овчарню! – перебил дядя.

– Похитил всё, – продолжал Александр.

– Он не похитил, а пришёл да и взял. Разве он обязан был справляться, занята ли твоя красавица, или нет? Я не понимаю этой глупости, которую, правду сказать, большая часть любовников делают от сотворения мира до наших времён: сердиться на соперника! может ли быть что-нибудь бессмысленней – *стереть его с лица земли!* за что? за то, что он понравился! как будто он виноват и как будто от этого дела пойдут лучше, если мы его накажем! А твоя... как её? Катенька, что ли, разве противилась ему? сделала какое-нибудь усилие, чтоб избежать опасности? Она сама отдалась, перестала любить тебя, нечего и спорить – не воротишь! А настаивать – это эгоизм! Требовать верности от жены – тут есть ещё смысл: там заключено обязательство; от этого зависит часто существенное благосостояние семейства; да и то нельзя требовать, чтоб она никого не любила... а можно только требовать, чтоб она... того... Да и ты сам не отдал ли её графу обеими руками? оспоривал ли ты её?

– Вот я и хочу оспоривать, – сказал Александр, вскочив с места, – а вы останавливаете мой благородный порыв...

– Оспоривать с дубиной в руках! – перебил дядя, – мы не в киргизской степи. В образованном мире есть другое орудие. За это надо было взяться вовремя и иначе, вести с графом дуэль другого рода, в глазах твоей красавицы.

Александр смотрел в недоумении на дядю.

– Какую же дуэль? – спросил он.

– А вот сейчас скажу. Ты как действовал до сих пор?

Александр, со множеством околичностей, смягчений, изворотов, кое-как, с ужимками, рассказал весь ход дела.

– Видишь ли? сам во всё кругом виноват, – примолвил Пётр Иванович, выслушав и сморщившись, – сколько глупостей наделано! Эх, Александр, принесла тебя сюда нелёгкая! стоило за этим ездить! Ты бы мог всё это проделать там, у себя, на озере, с тёткой. Ну, как можно так ребячиться, делать сцены... беситься? фи! Кто нынче это делает? Что, если твоя... как её? Юлия... расскажет всё графу? Да нет, этого опасаться нечего, слава богу! Она, верно, так умна, что на вопрос его о ваших отношениях сказала...

– Что сказала? – поспешно спросил Александр.

– Что дурачила тебя, что ты был влюблён, что ты противный, надоел ей... как это они всегда делают...

– Вы думаете, что она... так и... сказала? – спросил Александр, бледнея.

– Без всякого сомнения. Неужели ты воображаешь, что она расскажет, как вы там в саду собирали жёлтые цветы? Какая простота!

– Какая же дуэль с графом? – с нетерпением спросил Александр.

– А вот какая: не надо было грубиянить, избегать его и делать ему гримасы, а напротив, отвечать на его любезность вдвое, втрое, вдесятеро, а... эту, как её? Наденьку? кажется, попал? не раздражать упрёками, снисходить к её капризам, показывать вид, что не замечаешь ничего, что даже у тебя и предположения об измене нет, как о деле невозможном. Не надо было допускать их сблизаться до короткости, а расстроивать искусно, как будто ненарочно, их свидания с глазу на глаз, быть всюду вместе, ездить с ними даже верхом, и между тем тихомолком вызывать в глазах её соперника на бой и тут-то снарядить и двинуть вперёд все силы своего ума, устроить главную батарею из остроумия, хитрости да и того... открывать и поражать слабые стороны соперника так, как будто нечаянно, без умысла, с добродушием, даже нехотя, с сожалением, и мало-помалу снять с него эту драпировку, в которой молодой человек рисуется перед красавицей. Надо было заметить, что её поражает и ослепляет более всего в нём, и тогда искусно нападать на эти стороны, объяснить их просто, представлять в обыкновенном виде, показать, что новый герой... так себе... и только для неё надел праздничный наряд... Но всё это делать с хладнокровием, терпением, с умением – вот настоящая дуэль в нашем веке! Да где тебе!

Пётр Иванович выпил при этом стакан и тотчас опять налил вина.

– Презренные хитрости! прибегать к лукавству, чтоб овладеть сердцем женщины!.. – с негодованием заметил Александр.

– А к дубине прибегаешь: разве это лучше? Хитростью можно удержать за собой чью-нибудь привязанность, а силой – не думаю. Желание удалить соперника мне понятно: тут хлопчешь из того, чтоб сберечь себе любимую женщину, предупреждаешь или отклоняешь опасность – очень натурально! но бить его за то, что он внушил любовь к себе, – это всё равно, что ушибиться и потом ударить то место, о которое ушибся, как делают дети. Воля твоя, а граф не виноват! Ты, как я вижу, ничего не смыслишь в сердечных тайнах, оттого твои любовные дела и повести так плохи.

– Любовные дела! – сказал Александр, качая с презрением головой, – но разве лестна и прочна любовь, внушённая хитростью?

– Не знаю, лестна ли, это как кто хочет, по мне всё равно: я вообще о любви невысокого мнения – ты это знаешь; мне хоть её и не будь совсем... но что прочнее – так это правда. С сердцем напрямик действовать нельзя. Это мудрёный инструмент: не знай, которую пружину тронуть, так он заиграет бог знает что. Внуши чем хочешь любовь, а поддерживай умом. Хитрость – это одна сторона ума; презренного тут ничего нет. Не нужно унижать соперника и прибегать к клевете: этим вооружишь красавицу против себя... надо только стряхнуть с него те блёстки, которыми он ослепляет глаза твоей возлюбленной, сделать его перед ней простым, обыкновенным человеком, а не героем... Я думаю, простительно защищать своё добро благородной хитростью; ею и в военном деле не пренебрегают. Вот ты жениться хотел: хорош был бы муж, если б стал делать сцены жене, а соперникам показывать дубину – и был бы того...

Пётр Иванович показал рукою на лоб.

– Твоя Варенька была на двадцать процентов умнее тебя, когда предложила подождать год.

– Да мог ли бы я хитрить, если б и умел? Для этого надо не так любить, как я. Иные притворяются подчас холодными, не являются по расчёту несколько дней – и это действует... А я! притворяться, рассчитывать! когда при взгляде на неё у меня занимался дух и колени дрожали и гнулись подо мной, когда я готов был на все муки, лишь бы видеть её... Нет! что ни говорите, а для меня больше упоения – любить всеми силами души, хоть и страдать, нежели быть любимым, не любя или любя как-то вполонину, для забавы, по отвратительной системе, и играть с женщиной, как с комнатной собачонкой, а потом оттолкнуть...

Пётр Иванович пожал плечами.

– Ну, так вот и страдай, если тебе сладко, – сказал он. – О, провинция! о, Азия! На Востоке бы тебе жить: там ещё приказывают женщинам, кого любить; а не слушают, так их топят. Нет, здесь, – продолжал он, как будто сам с собой, – чтоб быть счастливым с женщиной, то есть не по-твоему, как сумасшедшие, а разумно, – надо много условий... надо уметь образовать из девушки женщину по обдуманному плану, по методе, если хочешь, чтоб она поняла и исполнила своё назначение. Надо очертить её магическим кругом, не очень тесно, чтоб она не заметила границ и не переступила их, хитро овладеть не только её сердцем – это что! это скользкое и непрочное обладание, а умом, волей, подчинить её вкус и нрав своему, чтоб она смотрела на вещи через тебя, думала твоим умом...

– То есть сделать её куклой или безмолвной рабой мужа! – перебил Александр.

– Зачем? Устрой так, чтоб она не изменила ни в чём женского характера и достоинства. Предоставь ей свободу действий в её сфере, но пусть за каждым её движением, вздохом, поступком наблюдает твой пронизывающий ум, чтоб каждое мгновенное волнение, вспышка, зародыш чувства всегда и всюду встречали снаружи равнодушный, но недремлющий глаз мужа. Учреди постоянный контроль без всякой тирании... да искусно, незаметно от неё и веди её желаемым путём... О, нужна мудрёная и тяжёлая школа, и эта школа – умный и опытный мужчина – вот в чём штука!

Он значительно кашлянул и залпом выпил стакан.

– Тогда, – продолжал он, – муж может спать покойно, когда жена и не подле него, или сидеть беззаботно в кабинете, когда она спит...

– А! вот он, знаменитый секрет супружеского счастья! – заметил Александр, – обманом приковать к себе ум, сердце, волю женщины, – и утешаться, гордиться этим... это счастье! А как она заметит?

– Зачем гордиться? – примолвил дядя, – это не нужно!

– Смотря по тому, дядюшка, – продолжал Александр, – как вы беззаботно сидите в кабинете, когда тётюшка почивает, я догадываюсь, что этот мужчина...

– Тс! тс!.. молчи, – заговорил дядя, махая рукой, – хорошо, что жена спит, а то... того...

В это время дверь в кабинет начала потихоньку отворяться, но никто не показывался.

– А жена должна, – заговорил женский голос из коридора, – не показывать вида, что понимает великую школу мужа, и завести маленькую свою, но не болтать о ней за бутылкой вина...

Оба Адуевы бросились к дверям, но в коридоре раздались быстрые шаги, шорох платья – и всё утихло.

Дядя и племянник посмотрели друг на друга.

– Что, дядюшка? – спросил племянник, помолчав.

– Что! ничего! – сказал Пётр Иванович, нахмутив брови, – не кстати похвастался. Учись, Александр, а лучше не женись или возьми дуру: тебе не сладить с умной женщиной: мудрёна школа!

Он задумался, потом ударил себя по лбу рукой.

– Как не сообразить, что она знала о твоём позднем приходе? – сказал он с досадой, – что женщина не уснёт, когда через комнату есть секрет между двумя мужчинами, что она непременно или горничную подошлёт, или сама... и не предвидеть! глупо! а всё ты да вот этот проклятый стакан лафиту! разболтался! Такой урок от двадцатилетней женщины...

– Вы боитесь, дядюшка!

– Чего бояться? нисколько! сделал ошибку – не надо терять хладнокровия, надо уметь выпутаться.

Он опять задумался.

– Она похвасталась, – начал он потом, – какая у ней школа! у ней школы быть не могло: молода! это она так только... от досады! но теперь она заметила этот магический круг: станет тоже хитрить... о, я знаю женскую натуру! Но посмотрим...

Он гордо и весело улыбнулся; морщины разгладились на лбу.

– Только надо иначе повести дело, – прибавил он, – прежняя метода ни к чёрту не годится. Теперь надо...

Он вдруг спохватился и замолчал, боязливо поглядывая на дверь.

– Но это всё впереди, – продолжал он, – теперь займёмся твоим делом, Александр. О чём мы говорили? да! ты, кажется, хотел убить, что ли, свою, эту... как её?

– Я её слишком глубоко презираю, – сказал Александр, тяжело вздохнув.

– Вот видишь ли? ты уж вполовину и вылечен. Только правда ли это? ты, кажется, ещё сердисься. Впрочем, презирай, презирай: это самое лучшее в твоём положении. Я хотел было сказать кое-что... да нет...

– Ах, говорите, ради бога, говорите! – сказал Александр, – у меня нет теперь ни искры рассудка. Я страдаю, гибну... дайте мне своего холодного разума. Скажите всё, что может облегчить и успокоить больное сердце...

– Да, скажи тебе – ты, пожалуй, и опять воротишься туда...

– Какая мысль! после того...

– Ворочаются после и не этого! честное слово – не пойдёшь?

– Клятву, если угодно.

– Нет, честное слово: это вернее.

– Честное слово.

– Ну, вот видишь ли: мы решили, что граф не виноват...

– Положим так; что же?

– Ну, а чем виновата твоя эта... как её?

– Чем виновата Наденька! – с изумлением возразил Александр, – она не виновата!

– Нет! ну, чем, скажи? её не за что презирать.
– Не за что! нет, дядюшка, это уж из рук вон! Положим, граф... ещё так... он не знал... да и то нет! а она? кто же после этого виноват? я?
– Да почти так, а в самом-то деле никто. Скажи, за что ты её презираешь?
– За низкий поступок.
– В чём же он состоит?
– Заплатить неблагодарностью за высокую, безграничную страсть...
– За что тут благодарить? разве ты для неё, из угождения к ней любил? хотел услужить ей, что ли? так для этого ты бы лучше мать полюбил.

Александр глядел на него и не знал, что сказать.

– Ты бы не должен был обнаруживать пред ней чувства во всей силе: женщина охлаждается, когда мужчина выскажется весь... Ты бы должен был узнать её характер, да и действовать сообразно этому, а не лежать как собачонка у ног. Как это не узнать компаньона, с которым имеешь какое бы то ни было дело? Ты бы разглядел тогда, что от неё больше и ожидать нельзя. Она разыграла свой роман с тобой до конца, точно так же разыграет его и с графом и, может быть, ещё с кем-нибудь... больше от неё требовать нельзя: выше и дальше ей нейти! это не такая натура: а ты вообразил себе бог знает что...

– Но зачем же она полюбила другого? – с горестью перебил Александр.

– Вот вина-то где: умный вопрос! Ах ты, дикарь! А зачем ты её полюбил? Ну, разлюби поскорее!

– Разве это от меня зависит?

– А разве от неё зависело полюбить графа? Сам же твердил, что не надо стеснять порывов чувства, а как дело дошло до самого, так зачем полюбила! Зачем такой-то умер, такая-то с ума сошла? – как отвечать на такие вопросы? Любовь должна же кончиться когда-нибудь: она не может продолжаться век.

– Нет, может. Я чувствую в себе эту силу сердца: я бы любил вечную любовью...

– Да! а полюби тебя крепче, так и того... на попятный двор! всё так, знаю я!

– Пусть бы кончилась её любовь, – сказал Александр, – но зачем она кончилась так?..

– Не всё ли равно? ведь тебя любили, ты наслаждался – и довольно!

– Отдалась другому! – говорил Александр, бледнея.

– А ты бы хотел, чтоб она любила тихонько другого, а тебя продолжала уверять в любви? Ну, ты сам реши, что ей делать, виновата ли она?

– О, я отомщу ей! – сказал Александр.

– Ты неблагодарен, – продолжал Пётр Иваныч, – это дурно! Что бы женщина ни сделала с тобой, изменила, охладела, поступила, как говорят в стихах, *коварно*, – вини природу, предавайся, пожалуй, по этому случаю философским размышлениям, брани мир, жизнь, что хочешь, но никогда не посягай на личность женщины ни словом, ни делом. Оружие против женщины – снисхождение, наконец, самое жестокое – забвение! только это и позволяется порядочному человеку. Вспомни, что полтора года ты вешался всем на шею от радости, не знал, куда деваться от счастья! полтора года непрерывных удовольствий! воля твоя – ты неблагодарен!

– Ах, дядюшка, для меня не было ничего на земле святее любви: без неё жизнь не жизнь...

– А! – с досадой перебил Пётр Иваныч, – тошно слушать такой вздор!

– Я боготворил бы Наденьку, – продолжал Александр, – и не позавидовал бы никакому счастью в мире; с Наденькой мечтал я провести всю жизнь – и что же? где эта благородная, колоссальная страсть, о которой я мечтал? она разыгралась в какую-то глупую, пигмеевскую комедию вздохов, сцен, ревности, лжи, притворства, – боже! боже!

– Зачем же ты воображал, чего не бывает? Не я ли твердил тебе, что ты до сих пор хотел жить такой жизнью, какой нет? У человека, по-твоему, только и дела, чтоб быть любовником, мужем, отцом... а о другом ни о чём и знать не хочешь. Человек, сверх того, ещё и гражданин, имеет какое-нибудь звание, занятие – писатель, что ли, помещик, солдат, чиновник, заводчик... А у тебя всё это заслоняет любовь да дружба... что за Аркадия! Начитался романов, наслушался своей тётушки там, в глуши, и приехал с этими понятиями сюда. Выдумал ещё – *благородную страсть!*

– Да, благородную!

– Полно, пожалуйста! разве есть благородные страсти!

– Как?

– Да так. Ведь страсть значит, когда чувство, влечение, привязанность или что-нибудь такое – достигло до той степени, где уж перестаёт действовать рассудок? Ну, что ж тут благородного? я не понимаю; одно сумасшествие – это не по-человечески. Да и зачем ты берёшь одну только сторону медали? я говорю про любовь – ты возьми и другую и увидишь, что любовь не дурная вещь. Вспомни-ка счастливые минуты: ты мне уши прожужжал...

– О, не напоминайте, не напоминайте! – говорил Александр, махая рукой, – вам хорошо так рассуждать, потому что вы уверены в любимой вами женщине; я бы желал посмотреть, что бы вы сделали на моём месте?..

– Что бы сделал?.. поехал бы рассеяться... на завод. Не хочешь ли завтра?

– Нет, мы с вами никогда не сойдёмся, – печально произнёс Александр, – ваш взгляд на жизнь не успокаивает, а отталкивает меня от неё. Мне грустно, на душу веет холод. До сих пор любовь спасала меня от этого холода; её нет – и в сердце теперь тоска; мне страшно, скучно...

– Займись делом.

– Всё это правда, дядюшка: вы и подобные вам могут рассуждать так. Вы от природы человек холодный... с душой, неспособной к волнениям...

– А ты воображаешь, что ты с могучей душой? Вчера от радости был на седьмом небе, а чуть немного того... так и не умеешь перенести горя.

– Пар, пар! – слабо, едва защищаясь, говорил Александр, – вы мыслите, чувствуете и говорите, точно как паровоз катится по рельсам: ровно, гладко, покойно.

– Надеюсь, это не дурно: лучше, чем выскочить из колеи, бухнуть в ров, как ты теперь, и не уметь встать на ноги. Пар! пар! да пар-то, вот видишь, делает человеку честь. В этой выдумке присутствует начало, которое нас с тобой делает людьми, а умереть с горя может и животное. Были примеры, что собаки умирали на могиле господ своих или задыхались от радости после долгой разлуки. Что ж это за заслуга? А ты думал: ты особое существо, высшего разряда, необыкновенный человек...

Пётр Иваныч взглянул на племянника и вдруг остановился.

– Что это? ты, никак, плачешь? – спросил он, и лицо его потемнело, то есть он покраснел.

Александр молчал. Последние доказательства совсем сбили его с ног. Возражать было нечего, но он находился под влиянием господствовавшего в нём чувства. Он вспомнил об утраченном счастье, о том, что теперь другой... И слёзы градом потекли по щекам его.

– Ай, ай, ай! стыдись! – сказал Пётр Иваныч, – и ты мужчина! плачь, ради бога, не при мне!

– Дядюшка! Вспомните о годах вашей молодости, – всхлипывая, говорил Александр, – ужели вы покойно и равнодушно могли бы перенести самое горькое оскорбление, какое только судьба посылает человеку? Жить полтора года такую полную жизнь и вдруг – нет ничего! пустота... После этой искренности хитрость, скрытность, холодность – ко мне! Боже! есть ли ещё мука сильнее? Легко сказать про другого «изменили», а испытать?.. Как

она переменялась! как стала наряжаться для графа! Бывало, приеду, она бледнеет, едва может говорить... лжёт... о нет...

Тут слёзы хлынули сильнее.

– Если б мне осталось утешение, – продолжал он, – что я потерял её по обстоятельствам, если б неволя принудила её... пусть бы даже умерла – и тогда легче было бы перенести... а то нет, нет... другой! это ужасно, невыносимо! И нет средств вырвать её у похитителя: вы обезоружили меня... что мне делать? научите же! Мне душно, больно... тоска, мука! я умру... застрелюсь...

Он облокотился на стол, закрыл голову руками и громко зарыдал...

Пётр Иваныч растерялся. Он прошёлся раза два по комнате, потом остановился против Александра и почесал голову, не зная, что начать.

– Выпей вина, Александр, – сказал Пётр Иваныч сколько мог понежнее, – может быть – того...

Александр – ничего, только плечи и голова его судорожно подёргивались; он всё рыдал. Пётр Иваныч нахмурился, махнул рукой и вышел из комнаты.

– Что мне делать с Александром? – сказал он жене. – Он там у меня разревелся и меня выгнал; я совсем измучился с ним.

– А ты так его и оставил? – спросила она, – бедный!пусти меня, я пойду к нему.

– Да ничего не сделаешь: это уж такая натура. Весь в тётку: та такая же плакса. Я уж немало убеждал его.

– Только убеждал?

– И убедил: он согласился со мной.

– О, я не сомневаюсь: ты очень умён и... хитёр! – прибавила она.

– Слава богу, если так: тут, кажется, всё, что нужно.

– Кажется, всё, а он плачет.

– Я не виноват, я сделал всё, чтоб утешить его.

– Что ж ты сделал?

– Мало ли? И говорил битый час... даже в горле пересохло... всю теорию любви точно на ладони так и выложил, и денег предлагал... и ужином – и вином старался...

– А он всё плачет?

– Так и ревет! под конец ещё пуще.

– Удивительно!пусти меня: я попробую, а ты пока обдумай свою новую методику...

– Что, что?

Но она, как тень, скользнула из комнаты.

Александр всё ещё сидел, опершись головой на руки. Кто-то дотронулся до его плеча. Он поднял голову: перед ним молодая, прекрасная женщина, в пеньюаре, в чепчике а la Finoise¹⁸.

– Ma tante!¹⁹ – сказал он.

Она села подле него, поглядела на него пристально, как только умеют глядеть иногда женщины, потом тихо отёрла ему платком глаза и поцеловала в лоб, а он прильнул губами к её руке. Долго говорили они.

Через час он вышел задумчив, но с улыбкой и уснул в первый раз покойно после многих бессонных ночей. Она воротилась в спальню с заплаканными глазами. Пётр Иваныч давным-давно храпел.

¹⁸ Финского фасона (фр.)

¹⁹ Тётушка (фр.)

Часть вторая

I

Прошло с год после описанных в последней главе первой части сцен и происшествий.

Александр мало-помалу перешёл от мрачного отчаянья к холодному унынию. Он уже не гремел проклятиями, с присовокуплением скрежета зубов, против графа и Наденьки, а клеймил их глубоким презрением.

Лизавета Александровна утешала его со всею нежностью друга и сестры. Он поддавался охотно этой милой опеке. Все такие натуры, какова была его, любят отдавать свою волю в распоряжение другого. Для них нянька – необходимость.

Наконец страсть выдохлась в нём, истинная печаль прошла, но ему жаль было расстаться с нею; он насильственно продолжил её, или, лучше сказать, создал себе искусственную грусть, играл, красовался ею и утопал в ней.

Ему как-то нравилось играть роль страдальца. Он был тих, важен, туманен, как человек, выдержавший, по его словам, *удар судьбы*, – говорил о высоких страданиях, о святых, возвышенных чувствах, смятых и втоптаных в грязь – «и кем? – прибавлял он, – девчонкой, кокеткой и презренным развратником, мишурным львом. Неужели судьба послала меня в мир для того, чтоб всё, что было во мне высокого, принести в жертву ничтожеству?»

Ни мужчина мужчине, ни женщина женщине не простили бы этого притворства и сейчас свели бы друг друга с ходулей. Но чего не прощают молодые люди разных полов друг другу?

Лизавета Александровна слушала снисходительно его иеремиады и утешала, как могла. Ей это было вовсе не противно, может быть, и потому, что в племяннике она всё-таки находила сочувствие собственному сердцу, слышала в его жалобах на любовь голос не чуждых и ей страданий.

Она жадно прислушивалась к стонам его сердца и отвечала на них неприметными вздохами и никем не видимыми слезами. Она, даже и на притворные и приторные излияния тоски племянника, находила утешительные слова в таком же тоне и духе; но Александр и слушать не хотел.

– О, не говорите мне, *ma tante*, – возражал он, – я не хочу позорить святого имени любви, называя так наши отношения с этой...

Тут он делал презрительную гримасу и готов был, как Пётр Иванович, спросить: как её?

– Впрочем, – прибавлял он ещё с большим презрением, – ей простительно: я слишком был выше и её, и графа, и всей этой жалкой и мелкой сферы; немудрёно, что я остался не разгаданным ей.

И после этих слов он ещё долго сохранял презрительную мину.

– Дядюшка твердит, что я должен быть благодарен Наденьке, – продолжал он, – за что? чем ознаменована эта любовь? всё пошлости, всё общие места. Было ли какое-нибудь явление, которое бы выходило из обыкновенного круга ежедневных дразгов? Видно ли было в этой любви сколько-нибудь героизма и самоотвержения? Нет, она всё почти делала с ведома матери! отступила ли для меня хоть раз от условий света, от долга? – никогда! И это любовь!!! Девушка – и не умела влить поэзии в это чувство!

– Какой же любви потребовали бы вы от женщины? – спросила Лизавета Александровна.

– Какой? – отвечал Александр, – я бы потребовал от неё первенства в её сердце. Любимая женщина не должна замечать, видеть других мужчин, кроме меня; все они должны

казаться ей невыносимы. Я один выше, прекраснее, – тут он выпрямился, – лучше, благороднее всех. Каждый миг, прожитый не со мной, для неё потерянный миг. В моих глазах, в моих разговорах должна она почерпать блаженство и не знать другого...

Лизавета Александровна старалась скрыть улыбку. Александр не замечал.

– Для меня, – продолжал он с блистающими глазами, – она должна жертвовать всем: презренными выгодами, расчётами, свергнуть с себя деспотическое иго матери, мужа, бежать, если нужно, на край света, сносить энергически все лишения, наконец презреть самую смерть – вот любовь! а эта...

– А вы чем бы вознаградили за эту любовь? – спросила тётка.

– Я? О! – начал Александр, возводя взоры к небу, – я бы посвятил всю жизнь ей, я бы лежал у ног её. Смотреть ей в глаза было бы высшим счастьем. Каждое слово её было бы мне законом. Я бы пел её красоту, нашу любовь, природу:

С ней обрели б уста мои
Язык Петрарки и любви...²⁰

Но разве я не доказал Наденьке, как я могу любить?

– Так вы совсем не верите в чувство, когда оно не выказывается так, как вы хотите? Сильное чувство прячется...

– Не хотите ли вы уверить меня, ma tante, что такое чувство, как дядюшкино, например, прячется?

Лизавета Александровна вдруг покраснела. Она не могла внутренне не согласиться с племянником, что чувство без всякого проявления как-то подозрительно, что, может быть, его и нет, что если б было, оно бы прорвалось наружу, что, кроме самой любви, обстановка её заключает в себе неизъяснимую прелесть.

Тут она мысленно пробежала весь период своей замужней жизни и глубоко задумалась. Нескромный намёк племянника пошевелил в её сердце тайну, которую она прятала так глубоко, и навёл её на вопрос: счастлива ли она?

Жаловаться она не имела права: все наружные условия счастья, за которым гоняется толпа, исполнялись над нею, как по заданной программе. Довольство, даже роскошь в настоящем, обеспеченность в будущем – всё избавляло её от мелких, горьких забот, которые сосут сердце и сушат грудь множества бедняков.

Муж её неумоимо трудился и всё ещё трудится. Но что было главною целью его трудов? Трудился ли он для общей человеческой цели, исполняя заданный ему судьбою урок, или только для мелочных причин, чтобы приобрести между людьми чиновное и денежное значение, для того ли, наконец, чтобы его не гнули в дугу нужда, обстоятельства? Бог его знает. О высоких целях он разговаривать не любил, называя это бредом, а говорил сухо и просто, что надо *дело делать*.

Лизавета Александровна вынесла только то грустное заключение, что не она и не любовь к ней были единственною целью его рвения и усилий. Он трудился и до женитьбы, ещё не зная своей жены. О любви он ей никогда не говорил и у неё не спрашивал; на её вопросы об этом отделялся шуткой, остротой или дремотой. Вскоре после знакомства с ней он заговорил о свадьбе, как будто давая знать, что любовь тут сама собою разумеется и что о ней толковать много нечего.

Он был враг всяких эффектов – это бы хорошо; но он не любил и искренних проявлений сердца, не верил этой потребности и в других. Между тем он одним взглядом, одним словом

²⁰ С ней обрели б уста мои... – у Пушкина: «С ней обретут уста мои...» («Евгений Онегин», гл. 1, строфа XLIX).

мог бы создать в ней глубокую страсть к себе; но он молчит, он не хочет. Это даже не льстит его самолюбию.

Она пробовала возбудить в нём ревность, думая, что тогда любовь непременно выскажется... Ничего не бывало. Чуть он заметит, что она отличает в обществе какого-нибудь молодого человека, он спешит пригласить его к себе, обласкает, сам не нахвалится его достоинствами и не боится оставлять его наедине с женой.

Лизавета Александровна иногда обманывала себя, мечтая, что, может быть, Пётр Иванович действует стратегически; что не в том ли состоит его таинственная метода, чтоб, поддерживая в ней всегда сомнение, тем поддерживать и самую любовь. Но при первом отзыве мужа о любви она тотчас же разочаровывалась.

Если б он ещё был груб, неотесан, бездушен, тяжелоумен, один из тех мужей, которым имя легион, которых так безгрешно, так нужно, так отрадно обманывать, для их и своего счастья, которые, кажется, для того и созданы, чтоб женщина искала вокруг себя и любила диаметрально противоположное им, – тогда другое дело: она, может быть, поступила бы, как поступает большая часть жён в таком случае. Но Пётр Иванович был человек с умом и тактом, не часто встречающимся. Он был тонок, проницателен, ловок. Он понимал все тревоги сердца, все душевные бури, но понимал – и только. Весь кодекс сердечных дел был у него в голове, но не в сердце. В его суждениях об этом видно было, что он говорит как бы слышанное и затвержённое, но отнюдь не прочувствованное. Он рассуждал о страстях верно, но не признавал над собой их власти, даже смеялся над ними, считая их ошибками, уродливыми отступлениями от действительности, чем-то вроде болезней, для которых со временем явится своя медицина.

Лизавета Александровна чувствовала его умственное превосходство над всем окружающим и терзалась этим. «Если б он не был так умён, – думала она, – я была бы спасена...» Он поклоняется положительным целям – это ясно, и требует, чтоб и жена жила не мечтательною жизнью.

«Но, боже мой! – думала Лизавета Александровна, – ужели он женился только для того, чтоб иметь хозяйку, чтоб придать своей холостой квартире полноту и достоинство семейного дома, чтоб иметь больше веса в обществе? Хозяйка, жена – в самом прозаическом смысле этих слов! Да разве он не постигает, со всем своим умом, что и в положительных целях женщины присутствует непременно любовь?... Семейные обязанности – вот её заботы: но разве можно исполнять их без любви? Няньки, кормилицы, и те творят себе кумира из ребёнка, за которым ходят; а жена, а мать! О, пусть я купила бы себе чувство муками, пусть бы перенесла все страдания, какие неразлучны с страстью, но лишь бы жить полною жизнью, лишь бы чувствовать своё существование, а не прозябать!..»

Она взглянула на роскошную мебель и на все игрушки и дорогие безделки своего буддара – и весь этот комфорт, которым у других заботливая рука любящего человека окружает любимую женщину, показался ей холодною насмешкой над истинным счастьем. Она была свидетельницею двух страшных крайностей – в племяннике и муже. Один восторжен до сумасбродства, другой – ледян до ожесточения.

«Как мало понимают оба они, да и большая часть мужчин, истинное чувство! и как я понимаю его! – думала она, – а что пользы? зачем? О, если б...»

Она закрыла глаза и пробыла так несколько минут, потом открыла их, оглянулась вокруг, тяжело вздохнула и тотчас приняла обыкновенный, покойный вид. Бедняжка! Никто не знал об этом, никто не видел этого. Ей бы вменили в преступление эти невидимые, неосознаваемые, безымённые страдания, без ран, без крови, прикрытые не лохмотьями, а бархатом. Но она с героическим самоотвержением таила свою грусть, да ещё находила довольно сил, чтоб утешать других.

Скоро Александр перестал говорить и о высоких страданиях и о непонятой и неоценённой любви. Он перешёл к более общей теме. Он жаловался на скуку жизни, пустоту души, на томительную тоску.

Я пережил свои страдания,
Я разлюбил свои мечты... – ²¹

твердил он беспрестанно.

– И теперь меня преследует чёрный демон. Он, *ma tante*, всюду со мной: и ночью, и за дружеской беседой, за чашей пиршества, и в минуту глубокой думы!

Так прошло несколько недель. Кажется, вот ещё бы недели две, так чудак и успокоился бы совсем и, может быть, сделался бы совсем порядочным, то есть простым и обыкновенным человеком, как все. Так нет! Особенность его странной природы находила везде случай проявиться.

Однажды он пришёл к тётке в припадке какого-то злобного расположения духа на весь род людской. Что слово, то колкость, что суждение, то эпиграмма, направленная и на тех, кого бы нужно уважать. Пощады не было никому. Досталось и ей, и Петру Иванычу. Лизавета Александровна стала допытываться причины.

– Вы хотите знать, – начал он тихо, торжественно, – что меня теперь *волнует, бесит?*²² Слушайте же: вы знаете, я имел друга, которого не видал несколько лет, но для которого у меня всегда оставался уголок в сердце. Дядюшка, в начале моего приезда сюда, принудил меня написать к нему странное письмо, в котором заключались его любимые правила и образ мыслей; но я то изорвал и послал другое, стало быть, меняться моему приятелю было не от чего. После этого письма наша переписка прекратилась, и я потерял своего приятеля из виду. Что же случилось? Дня три назад иду по Невскому проспекту и вдруг вижу его. Я остолбенел, по мне побежали искры, в глазах явились слёзы. Я протянул ему руки и не мог от радости сказать ни слова: дух захватило. Он взял одну руку и пожал. «Здравствуй, Адуев!» – сказал он таким голосом, как будто мы вчера только с ним расстались. «Давно ли ты здесь?» Удивился, что мы до сих пор не встретились, слегка спросил, что я делаю, где служу, долгом счёл уведомить, что он имеет прекрасное место, доволен и службой, и начальниками, и товарищами, и... всеми людьми, и своей судьбой... потом сказал, что ему некогда, что он торопится на званный обед – слышите, *ma tante?* при свидании, после долгой разлуки, с другом, он не мог отложить обеда...

– Но, может быть, его стали бы ждать, – заметила тётка, – приличия не позволили...

– Приличия и дружба? и вы, *ma tante!* да это ещё что: я вам скажу лучше. Он сунул мне в руку адрес, сказал, что вечером на другой день ожидает меня к себе – и исчез. Долго я смотрел ему вслед и всё не мог прийти в себя. Это товарищ детства, это друг юности! Хорошо! Но потом подумал, что, может быть, он всё отложил до вечера и тогда посвятит время искренней, душевной беседе. «Так и быть, думаю, пойду». Являюсь. У него было человек десять приятелей. Он протянул мне руку ласковее, нежели накануне, – это правда, но зато, не говоря ни слова, тотчас же предложил сесть за карты. Я сказал, что не играю, и уселся один на диване, полагая, что он бросит карты и придёт ко мне. «Не играешь? – сказал он с удивлением, – что же ты делаешь?» Хорош вопрос! Вот я жду час, два, он не подходит ко мне; я выхожу из терпения. Он предлагал мне то сигару, то трубку, жалел, что я не играю, что мне скучно, старался занять меня – чем, как вы думаете? – беспрестанно обращался ко

²¹ Я пережил свои страдания... – у Пушкина: «Я пережил свои желанья...» (1821).

²² ...что меня теперь волнует, бесит? – у Грибоедова: «Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит («Горе от ума», действие третье, явление 1).

мне и рассказывал всякий свой удачный и неудачный выход. Я наконец не вытерпел, подошёл к нему и спросил, намерен ли он уделить мне сколько-нибудь времени в этот вечер? А сердце у меня так и кипело, голос дрожал. Это его, кажется, удивило. Он посмотрел на меня странно. «Хорошо, говорит, вот дай закончить пульку». Как только он сказал мне это, я схватил шляпу и хотел уйти, но он заметил и остановил меня. «Пулька кончается, – сказал он, – сейчас будем ужинать». Наконец кончили. Он сел подле меня и зевнул: тем и началась наша дружеская беседа. «Ты мне что-то хотел сказать?» – спросил он. Это было сказано таким монотонным и бесчувственным голосом, что я, ничего не говоря, только посмотрел на него с грустной улыбкой. Тут он вдруг будто ожил и засыпал меня вопросами: «Что с тобой? да не нуждаешься ли в чём? да не могу ли я быть тебе полезным по службе?..» и т. п. Я покачал головой и сказал ему, что я хотел говорить с ним не о службе, не о материальных выгодах, а о том, что ближе к сердцу: о золотых днях детства, об играх, о проказах... Он, представьте! даже не дал мне договорить. «Ты ещё всё, говорит, такой же мечтатель!» – потом вдруг переменял разговор, как будто считая его пустяками, и начал серьёзно расспрашивать меня о моих делах, о надеждах на будущее, о карьере, как дядюшка. Я удивился, не верил, чтоб в человеке могло до такой степени огрубеть сердце. Я хотел испытать в последний раз, привязался к вопросу его о моих делах и начал рассказывать о том, как поступили со мной. «Ты выслушай, что сделали со мной *люди*...» – начал было я. «А что? – вдруг перебил он с испугом, – верно, обокрали?» Он думал, что я говорю про лакеев; другого горя он не знает, как дядюшка: до чего может окаменеть человек! «Да, – сказал я, – люди обокрали мою душу...» Тут я заговорил о моей любви, о мучениях, о душевной пустоте... я начал было увлекаться и думал, что повесть моих страданий растопит ледяную кору, что ещё в глазах его не высохли слёзы... Как вдруг он – разразился хохотом! смотрю, в руках у него платок: он во время моего рассказа всё крепился, наконец не выдержал... Я в ужасе остановился.

– Полно, полно, – сказал он, – лучше выпей-ка водки, да станем ужинать. Человек! водки. Пойдём, пойдём, ха, ха, ха!.. есть славный... рост... ха, ха, ха!.. ростбиф...

– Он взял было меня под руку, но я вырвался и бежал от этого чудовища... Вот каковы люди, *ma tante!* – заключил Александр, потом махнул рукой и ушёл.

Лизавете Александровне стало жаль Александра; жаль его пылкого, но ложно направленного сердца. Она увидела, что при другом воспитании и правильном взгляде на жизнь он был бы счастлив сам и мог бы осчастливить кого-нибудь ещё; а теперь он жертва собственной слепоты и самых мучительных заблуждений сердца. Он сам делает из жизни пытку. Как указать настоящий путь его сердцу? Где этот спасительный компас? Она чувствовала, что только нежная, дружеская рука могла ухаживать за этим цветком.

Ей удалось уже раз укротить беспокойные порывы в сердце племянника, но то было в деле любви. Там она знала, как обойтись с оскорблённым сердцем. Она, как искусная дипломатка, первая осыпала укоризнами Наденьку, выставила её поступок в самом чёрном виде, опошшила её в глазах Александра и успела доказать ему, что она недостойна его любви. Этим она вырвала из сердца Александра мучительную боль, заменив её покойным, хотя не совсем справедливым чувством – презрением. Пётр Иваныч, напротив, старался оправдать Наденьку и этим не только не успокоил, но ещё растравил его муку, заставил думать, что ему предпочтён достойнейший.

Но в дружбе другое дело. Лизавета Александровна видела, что друг Александра был виноват в его глазах и прав в глазах толпы. Прошу растолковать это Александру! Она не решилась на этот подвиг сама и прибегла к мужу, полагая не без основания что у него за доводами против дружбы дело не станет.

– Пётр Иваныч! – сказала она однажды ему ласково, – я к тебе с просьбой.

– Что такое?

– Угадай.

– Говори: ты знаешь, на твои просьбы отказа нет. Верно, о петергофской даче: ведь теперь ещё рано...

– Нет! – сказала Лизавета Александровна.

– Что же? ты говорила, что боишься наших лошадей: хотела помирнее...

– Нет!

– Ну, о новой мебели?..

Она покачала головой.

– Воля твоя, не знаю, – сказал Пётр Иваныч, – вот возьми лучше ломбардный билет и распорядись, как тебе нужно; это вчерашний выигрыш...

Он достал было бумажник.

– Нет, не беспокойся, спрячь деньги назад, – сказала Лизавета Александровна, – это дело не будет стоить тебе ни копейки.

– Не брать денег, когда дают! – сказал Пётр Иваныч, пряча бумажник, – это непостижимо! Что же нужно?

– Нужно только немного доброй воли...

– Сколько хочешь.

– Вот видишь: третьего дня был у меня Александр...

– Ох, чувствую недоброе! – перебил Пётр Иваныч, – ну?

– Он такой мрачный, – продолжала Лизавета Александровна, – я боюсь, чтоб всё это не довело его до чего-нибудь...

– Да что с ним ещё? Опять изменили в любви, что ли?

– Нет, в дружбе.

– В дружбе! час от часу не легче! Как же в дружбе? это любопытно: расскажи, пожалуйста.

– А вот как.

Тут Лизавета Александровна рассказала ему всё, что слышала от племянника. Пётр Иваныч сильно пожал плечами.

– Что ж ты хочешь, чтоб я тут сделал? видишь, какой он!

– А ты обнаружь ему участие, спроси, в каком положении его сердце...

– Нет, это уж ты спроси.

– Поговори с ним... как это?.. понежнее, а не так, как ты всегда говоришь... не смейся над чувством...

– Не прикажешь ли заплакать?

– Не мешало бы.

– А что пользы ему от этого?

– Много... и не одному ему... – заметила вполголоса Лизавета Александровна.

– Что? – спросил Пётр Иваныч.

Она молчала.

– Ох уж мне этот Александр: он у меня вот где сидит! – сказал Пётр Иваныч, показывая на шею.

– Чем это он так обременил тебя?

– Как чем? Шесть лет вожусь с ним: то он расплачется – надо утешать, то поди переписывайся с матерью.

– В самом деле, бедный! Как это достаёт тебя? Какой страшный труд: получить раз в месяц письмо от старушки и, не читая, бросить под стол или поговорить с племянником! Как же, ведь это отвлекает от виста! Мужчины, мужчины! Если есть хороший обед, лафит за золотой печатью да карты – и всё тут; ни до кого и дела нет! А если к этому ещё случай поважничать и поумничать – так и счастливы.

– Как для вас пококетничать, – заметил Пётр Иванович. – Всякому своё, моя милая! Чего же ещё?

– Чего! а сердце! об этом никогда и речи нет.

– Вот ещё!

– Мы очень умны: как нам заниматься такими мелочами? Мы ворочаем судьбами людей. Смотрят что у человека в кармане да в петлице фрака, а до остального и дела нет. Хотят, чтоб и все были такие! Нашёлся между ними один чувствительный, способный любить и заставить любить себя...

– Славно он заставил любить себя эту... как её? Верочку, что ли? – заметил Пётр Иванович.

– Нашёл кого поставить с ним наравне! это насмешка судьбы. Она всегда, будто нарочно, сведёт нежного, чувствительного человека с холодным созданием! Бедный Александр! У него ум нейдёт наравне с сердцем, вот он и виноват в глазах тех, у кого ум забежал слишком вперёд, кто хочет взять везде только рассудком...

– Согласись, однако, что это главное; иначе...

– Не соглашусь, ни за что не соглашусь: это главное там на заводе, может быть, а вы забываете, что у человека есть ещё чувство...

– Пять! – сказал Адуев, – я ещё это в азбуке затвердил.

– И досадно и грустно! – прошептала Лизавета Александровна.

– Ну, ну, не сердись: я сделаю всё, что прикажешь, только научи – как! – сказал Пётр Иванович.

– А ты дай ему лёгкий урок...

– Нагоняй? изволь, это моё дело.

– Вот уж и нагоняй! Ты объясни ему поласковее, чего можно требовать и ожидать от нынешних друзей; скажи, что друг не так виноват, как он думает... Да мне ли учить тебя? ты такой умный... так хорошо хитришь... – прибавила Лизавета Александровна.

Пётр Иванович при последнем слове немного нахмурился.

– Мало ли там у вас было искренних излияний? – сказал он сердито, – шептались, шептались и всё ещё не перешептали всего о дружбе да о любви; теперь меня путают...

– Зато это в последний раз, – сказала Лизавета Александровна, – я надеюсь, что после этого он утешится.

Пётр Иванович недоверчиво покачал головой.

– Есть ли у него деньги? – спросил он, – может быть, нет, он и того...

– Только деньги на уме! Он готов был бы отдать все деньги за одно приветливое слово друга.

– Чего доброго: от него станется! Раз он и так дал там, у себя в департаменте, чиновнику денег за искренние излияния... Вот кто-то позвонил: не он ли? Что надо сделать? повтори: дать ему нагоняй... ещё что? денег?

– Какой нагоняй! ты, пожалуй, хуже наделаешь. О дружбе я просила тебя поговорить, о сердце, да поласковее, повнимательнее...

Александр молча поклонился, молча и много ел за обедом, а в антрактах катал шарики из хлеба и смотрел на бутылки и графины исподлобья. После обеда он взялся было за шляпу.

– Куда же ты? – спросил Пётр Иванович, – посиди с нами.

Александр молча повиновался. Пётр Иванович думал, как бы приступить к делу понежнее и половчее, и вдруг спросил скороговоркою:

– Я слышал, Александр, что друг твой поступил с тобой как-то коварно?

При этих неожиданных словах Александр встряхнул головой, как будто его ранили, и устремил полный упрёка взгляд на тётку. Она тоже не ожидала такого крутого приступа к делу и сначала опустила голову на работу, потом также с упрёком поглядела на мужа; но он

был под двойной эгидою пищеварения и дремоты и оттого не почувствовал рикошета этих взглядов.

Александр отвечал на его вопрос чуть слышным вздохом.

– В самом деле, – продолжал Пётр Иваныч, – какое коварство! что за друг! не видался лет пять и охладел до того, что при встрече не задушил друга в объятиях, а позвал его к себе вечером, хотел усадить за карты... и накормить... А потом – коварный человек! – заметил на лице друга кислую мину и давай расспрашивать о его делах, об обстоятельствах, о нуждах – какое гнусное любопытство! да ещё – о, верх коварства! – осмелился предлагать свои услуги... помощь... может быть, деньги! и никаких искренних излияний! ужасно, ужасно! Покажи, пожалуйста, мне это чудовище, приведи в пятницу обедать!.. А почём он играет?

– Не знаю, – сказал Александр сердито. – Смейтесь, дядюшка: вы правы; я виноват один. Поверить людям, искать симпатии – в ком? рассыпать бисер – перед кем! Кругом низость, слабодушие, мелочность, а я ещё сохранил юношескую веру в добро, в доблесть, в постоянство...

Пётр Иваныч начал что-то часто и мерно кивать головой.

– Пётр Иваныч! – сказала Лизавета Александровна шёпотом, дёрнув его за рукав, – ты спишь?

– Вот, сплю! – сказал, проснувшись, Пётр Иваныч, – я всё слышу: «доблесть, постоянство», где же сплю?

– Не мешайте дядюшке, ma tante! – заметил Александр, – он не уснёт, у него расстроится пищеварение, и бог знает, что из этого будет. Человек, конечно, властелин земли, но он также и раб своего желудка.

При этом он хотел, кажется, горько улыбнуться, но улыбнулся как-то кисло.

– Скажи же мне, чего ты хотел от своего друга? жертвы, что ли, какой-нибудь: чтоб он на стену полез или кинулся из окошка? Как ты понимаешь дружбу, что она такое? – спросил Пётр Иваныч.

– Теперь уж жертвы не потребую – не беспокойтесь. Я благодаря людям низошел до жалкого понятия и о дружбе, как о любви... Вот я всегда носил с собой эти строки, которые казались мне вернейшим определением этих двух чувств, как я их понимал и как они должны быть, а теперь вижу, что это ложь, клевета на людей или жалкое незнание их сердца... Люди не способны к таким чувствам. Прочь – это коварные слова!..

Он достал из кармана бумажник, а из бумажника две осьмушки исписанной бумаги.

– Что это такое? – спросил дядя, – покажи.

– Не стоит! – сказал Александр и хотел рвать бумаги.

– Прочтите, прочтите! – стала просить Лизавета Александровна.

– Вот как два новейшие французские романиста определяют истинную дружбу и любовь, и я согласился с ними, думал, что встречу в жизни такие существа и найду в них... да что! – Он презрительно махнул рукой и начал читать: «Любить не тою фальшивою, робкою дружбою, которая живёт в наших раззолоченных палатах, которая не устоит перед горстью золота, которая боится двусмысленного слова, но тою могучею дружбою, которая отдаёт кровь за кровь, которая докажет себя в битве и кровопролитии, при громе пушек, под рёвом бурь, когда друзья лобзаются прокопчёнными порохом устами, обнимаются окровавленными объятиями... И если Пилад ранен насмерть, Орест, энергически прощаясь с ним, верным ударом кинжала прекращает его мучения, страшно клянётся отомстить и сдерживает клятву, потом отирает слезу и успокаивается...»

Пётр Иваныч засмеялся своим мерным, тихим смехом.

– Над кем вы, дядюшка, смеётесь? – спросил Александр.

– Над автором, если он говорит это не шутя и от себя, а потом над тобой, если ты действительно так понимал дружбу.

– Ужели это только смешно? – спросила Лизавета Александровна.

– Только. Виноват: смешно и жалко. Впрочем, и Александр согласен с этим и позволил смеяться. Он сам сейчас сознался, что такая дружба – ложь и клевета на людей. Это уж важный шаг вперёд.

– Ложь потому, что люди не способны возвышаться до того понятия о дружбе, какая должна быть...

– Если люди неспособны, так и не должна быть... – сказал Пётр Иванович.

– Но бывали же примеры...

– Это исключения, а исключения почти всегда не хороши. «Окровавленные объятия, страшная клятва, удар кинжала!...»

И он опять засмеялся.

– Ну-ка, прочти о любви, – продолжал он, – у меня и сон прошёл.

– Если это может доставить вам случай посмеяться ещё – извольте! – сказал Александр и начал читать следующее:

«Любить – значит не принадлежать себе, перестать жить для себя, перейти в существование другого, сосредоточить на одном предмете все человеческие чувства – надежду, страх, горесть, наслаждение; любить – значит жить в бесконечном...»

– Чёрт знает, что такое! – перебил Пётр Иванович, – какой набор слов!

– Нет, это очень хорошо! мне нравится, – заметила Лизавета Александровна. – Продолжайте, Александр.

«Не знать предела чувству, посвятить себя одному существу, – продолжал Александр читать, – и жить, мыслить только для его счастья, находить величие в унижении, наслаждение в грусти и грусть в наслаждении, предаваться всевозможным противоположностям, кроме любви и ненависти. Любить – значит жить в идеальном мире...»

Пётр Иванович покачал при этом головой.

«В идеальном мире (продолжал Александр), превосходящем блеском и великолепием всякий блеск и великолепие. В этом мире небо кажется чище, природа роскошнее; разделять жизнь и время на два деления – присутствие и отсутствие, на два времени года – весну и зиму; первому соответствует весна, зима второму, – потому что, как бы ни были прекрасны цветы и чиста лазурь неба, но в отсутствии вся прелесть того и другого помрачается; в целом мире видеть только одно существо и в этом существе заключать вселенную... Наконец, любить – значит подстерегать каждый взгляд любимого существа, как бедуин подстерегает каждую каплю росы, для освежения запёкшихся от зноя уст; волноваться в отсутствии его роем мыслей, а при нём не уметь высказать ни одной, стараться превзойти друг друга в жертвованиях...»

– Довольно, ради бога, довольно! – перебил Пётр Иванович, – терпенья нет! ты рвать хотел: рви же, рви скорей! вот так!

Пётр Иванович даже встал с кресел и начал ходить взад и вперёд по комнате.

– Неужели был век, когда, не шутя, думали так и проделывали всё это? – сказал он. – Неужели всё, что пишут о рыцарях и пастушках, не обидная выдумка на них? И как достаёт охоты расшевеливать и анализировать так подробно эти жалкие струны души человеческой... любовь! придавать всему этому такое значение...

Он пожал плечами.

– Зачем, дядюшка, уноситься так далеко? – сказал Александр, – я сам чувствую в себе эту силу любви и горжусь ею. Моё несчастье состоит в том только, что я не встретил существа, достойного этой любви и одарённого такою же силой...

– Сила любви! – повторил Пётр Иванович, – всё равно, если б ты сказал – сила слабости.

– Это не по тебе, Пётр Иванович, – заметила Лизавета Александровна, – ты не хочешь верить существованию такой любви и в других...

– А ты? неужели ты веришь? – спросил Пётр Иванович, подходя к ней, – да нет, ты шутишь! Он ещё ребёнок и не знает ни себя, ни других, а тебе было бы стыдно! Неужели ты могла бы уважать мужчину, если б он полюбил так?.. Так ли любят?..

Лизавета Александровна оставила свою работу.

– Как же? – спросила она тихо, взяв его за руки и притягивая к себе.

Пётр Иванович тихо высвободил свои руки из её рук и украдкой показал на Александра, который стоял у окна, спиной к ним, и опять начал совершать своё хождение по комнате.

– Как! – говорил он, – будто ты не слыхала, как любят!..

– Любят! – повторила она задумчиво и медленно принялась опять за работу.

С четверть часа длилось молчание. Пётр Иванович первый прервал его.

– Что ты теперь делаешь? – спросил он племянника.

– Да... ничего.

– Мало. Ну, читаешь, по крайней мере?

– Да...

– Что же?

– Басни Крылова.

– Хорошая книга; да не одну же её?

– Теперь одну. Боже мой! какие портреты людей, какая верность!

– Ты что-то сердит на людей. Ужели любовь к этой... как её? сделала тебя таким?..

– О! я и забыл об этой глупости. Недавно я проехал по тем местам, где был так счастлив и так страдал, думал, что воспоминаниями разорву сердце на части.

– Что же, разорвал?

– Видел и дачу, и сад, и решётку, а сердце и не стукнуло.

– Ну, вот: я ведь говорил. Чем же тебе так противны люди?

– Чем! своею низостью, мелкостью души... Боже мой! когда подумаешь, сколько подлостей вращается там, где природа бросила такие чудные семена...

– Да тебе что за дело? Исправить, что ли, хочешь людей!

– Что за дело? Разве до меня не долетают брызги этой грязи, в которой купаются люди? Вы знаете, что случилось со мною, – и после всего этого не ненавидеть, не презирать людей!

– Что же случилось с тобой?

– Измена в любви, какое-то грубое, холодное забвение в дружбе... Да и вообще противно, гадко смотреть на людей, жить с ними! Все их мысли, слова, дела – всё зиждется на песке. Сегодня бегут к одной цели, спешат, сбивают друг друга с ног, делают подлости, льстят, унижаются, строят козни, а завтра – и забыли о вчерашнем и бегут за другим. Сегодня восхищаются одним, завтра ругают; сегодня горячи, нежны, завтра холодны... нет! как посмотришь – страшна, противна жизнь! А люди!..

Пётр Иванович, сидя в креслах, задремал было опять.

– Пётр Иванович! – сказала Лизавета Александровна, толкнув его тихонько.

– Хандришь, хандришь! Надо делом заниматься, – сказал Пётр Иванович, протирая глаза, – тогда и людей бранить не станешь, не за что. Чем не хороши твои знакомые? всё люди порядочные.

– Да! за кого нихватишься, так какой-нибудь зверь из басен Крылова и есть, – сказал Александр.

– Хозаровы, например?

– Целая семья животных! – перебил Александр. – Один расточает вам в глаза лесть, ласкает вас, а за глаза... я слышал, что он говорит обо мне. Другой сегодня с вами рыдает о вашей обиде, а завтра зарыдает с вашим обидчиком; сегодня смеётся с вами над другим, а завтра с другим над вами... гадко!

– Ну, Лунины?

– Хороши и эти. Сам он точно тот осёл, от которого соловей улетел за тридевять земель. А она такой доброй лисицей смотрит...

– Что скажешь о Сониных?

– Да хорошего ничего не скажешь. Сонин всегда даст хороший совет, когда пройдёт беда, а попробуйте обратиться в нужде... так он и отпустит без ужина домой, как лисица волка. Помните, как он юлил перед вами, когда искал места чрез ваше посредство? А теперь послушайте, что говорит про вас...

– И Волочков не нравится тебе?

– Ничтожное и ещё вдобавок злое животное...

Александр даже плюнул.

– Ну, отделал же! – промолвил Пётр Иваныч.

– Чего же мне ждать от людей? – продолжал Александр.

– Всего: и дружбы, и любви, и штаб-офицерского чина, и денег... Ну, теперь заключи эту галерею портретов нашими: скажи, какие мы с женой звери?

Александр ничего не отвечал, но на лице у него мелькнуло выражение тонкой, едва заметной иронии. Он улыбнулся. Ни это выражение, ни улыбка не ускользнули от Петра Иваныча. Он переглянулся с женой, та потупила глаза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.